

Зинаида Гиппиус

Мне нужно то,
чего нет на свете

Живые лица
Петербургские дневники

Гиппиус

Дневник моего сердца
Diarium Cordis



Дневник моего сердца. Diarium Cordis

Зинаида Гиппиус

**Мне нужно то, чего нет
на свете. Живые лица.
Петербургские дневники**

«АСТ»

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Гиппиус З. Н.

Мне нужно то, чего нет на свете. Живые лица. Петербургские
дневники / З. Н. Гиппиус — «АСТ», — (Дневник моего сердца.
Diarium Cordis)

ISBN 978-5-17-101772-9

Зинаида Николаевна Гиппиус – поэт, прозаик, драматург, публицист, уникальная, незаурядного ума личность, необыкновенно яркая женщина. Современники называли ее декадентской мадонной, Зинаидой прекрасной, Белой Дьяволицей, ведьмой, сатирессой, и это неполный перечень обликов, в которых она являлась окружающим. Зинаида Гиппиус оставила большое наследие – глубокую, своеобразную лирику, наблюдательную прозу, умную литературную критику. В книгу вошли воспоминания «Живые лица», написанные в 1925 году, – психологически убедительные и художественно достоверные портреты современников: Александра Блока, Андрея Белого, Валерия Брюсова, Федора Сологуба, Василия Розанова, Анны Вырубовой, Григория Распутина и других. В «Петербургских дневниках» (1917–1918) воссоздана картина Первой мировой и Гражданской войн. Дневники предельно откровенно передают атмосферу Петербурга того страшного, катастрофического времени...

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-101772-9

© Гиппиус З. Н.

© АСТ

Содержание

Живые лица	6
Мой лунный друг. О Блоке	7
Одержимый. О Брюсове	31
Конец ознакомительного фрагмента.	43



Зинаида Гиппиус
Мне нужно то, чего нет на свете.
Живые лица. Петербургские дневники

Живые лица



Мой лунный друг. О Блоке

.....
*И пусть над нашим смертным ложем
Взовьется с криком воронье...
Те, кто достойней, Боже, Боже,
Да внидут в царствие Твое!*

Это не статья о поэзии Блока. Немало их у меня в свое время было. Это не статья и о Блоке самом. И уж во всяком случае это не суд над Блоком. И не оценка его. Я хочу рассказать о самом Блоке, дать легкие тени наших встреч с ним, – только.

Их очень было много за двадцать почти лет. Очень много. Наши отношения можно бы назвать дружбой... лунной дружбой. Кто-то сказал, впрочем (какой-то француз), что дружба – всегда лунная, и только любовь солнечная.

1

Осень на даче под Петербургом. Опушка леса, полянка над оврагом. Воздух яблочно-терпкий, небо ярко-лиловое около ярко-желтых, сверкающих кудрей тоненьких березок.

Я сижу над оврагом и читаю только что полученное московское письмо от Ольги Соловьевой.

Об этой замечательной женщине скажу вкратце два слова. Она была женой брата Владимира Соловьева – Михаила. Менее известный, нежели Владимир, – Михаил был, кажется, глубже, сосредоточеннее и, главное, как-то *тише* знаменитого брата. Ольга – порывистая, умная, цельная и необыкновенно талантливая. Ее картины никому не известны. Да она их, кажется, мало кому и показывала. Но каждый рисунок ее – было в нем что-то такое свое и новое, что он потом не забывался. Она написала только один рассказ (задолго до нашего знакомства). Напечатанный в «Северном вестнике», он опять был такой новый и особенный, что его долго все помнили.

Не знаю, как случилось, что между нами завязалась переписка. И длилась годы, а мы еще никогда друг друга не видели. Познакомились мы сравнительно незадолго до ее смерти, в Москве. Тогда же, когда в первый раз увиделись с Борей Бугаевым (впоследствии Андреем Белым). Семьи Бугаевых и Соловьевых жили тогда на Арбате, в одном и том же доме, в разных этажах.

Кажется, весной 1903 года Михаил Соловьев, очень слабый, заболел инфлуэнцей. Она осложнилась. Ольга не отходила от него до последней минуты. Закрыв ему глаза, она вышла в другую комнату и застрелилась.

Вместе их отпевали и хоронили. Ольга была очень религиозный человек и – язычница. Любовь ее была ее религией.

Остался сын Сергей, шестнадцатилетний. Впоследствии – недурной поэт, издавший несколько книг (немножко классик). Перед войной он сделался священником.

2

В тот яркий осенний день, с которого начинается мой рассказ, из письма Ольги Соловьевой выпало несколько отдельных листков. Стихи. Но прочтем сначала письмо.

В нем *post scriptum*: «...а Вы ничего не знаете о новоявленном, вашем же, петербургском, поэте? Это юный студент, – нигде, конечно, не печатался. Но, может быть, Вы с ним случайно

знакомы? Его фамилия Блок. От его стихов Боря (Бугаев) в таком восторге, что буквально катается по полу. Я... право, не знаю, что сказать. Переписываю Вам несколько. Напишите, что Вы думаете».

Вошли ли эти первые робкие песни в какой-нибудь том Блока? Вероятно, нет. Они были так смутны, хотя уже и самое косноязычие их – было блоковское, которое не оставляло его и после, и давало ему своеобразную прелесть. И тема, помню, была блоковская: первые видения Прекрасной Дамы.

3

Переезд в город, зима, дела, кажется, религиозно-философские собрания... Блок мне не встречался, хотя кто-то опять принес мне его стихи, другие, опять меня заинтересовавшие.

Ранней весной, – еще холодновато было, камин топился, значит, в начале или середине марта, – кто-то позвонил к нам. Иду в переднюю, отворяю дверь.

День светлый, но в передней темновато. Вижу только, что студент, незнакомый. Пятно светло-серой тужурки.

– Я пришел... нельзя ли мне записаться на билет... в пятницу, в Соляном Городке Мережковский читает лекцию...

– А как ваша фамилия?

– Блок...

– Вы – Блок? Так идите же ко мне, познакомимся. С билетом потом, это пустяки...

И вот Блок сидит в моей комнате, по другую сторону камина, прямо против высоких окон. За окнами, – они выходят на соборную площадь Спаса Преображения, – стоит зеленый, стеклянный свет предвесенний, уже немеркнувшее небо.

Блок не кажется мне красивым. Над узким высоким лбом (все в лице и в нем самом – узкое и высокое, хотя он среднего роста) – густая шапка коричневых волос. Лицо прямое, неподвижное, такое спокойное, точно оно из дерева или из камня. Очень интересное лицо.

Движений мало, и голос под стать: он мне кажется тоже «узким», но он при этом низкий и такой глухой, как будто идет из глубоко-глубокого колодца. Каждое слово Блок произносит медленно и с усилием, точно отрываясь от какого-то раздумья.

Но странно. В этих медленных отрывочных словах, с усилием выжимаемых, в глухом голосе, в деревянности прямого лица, в спокойствии серых невнимательных глаз, – во всем облике этого студента – есть что-то милое. Да, милое, детское, – «не страшное». Ведь «по какому-то» (как сказал бы юный Боря Бугаев) всякий новый взрослый человек – страшный. В Блоке именно этой «странности» не было ни на капельку, потому, должно быть, что, несмотря на неподвижность, серьезность, деревянность даже, – не было в нем «взрослости», той безнадежной ее стороны, которая и дает «страшность».

Ничего этого, конечно, тогда не думалось, а просто чувствовалось.

Не помню, о чем мы в первое это свидание говорили. Но говорили так, что уж ясно было: еще увидимся, непременно.

Кажется, к концу визита Блока пришел Мережковский.

4

В эти годы Блока я помню почти постоянно. На религиозно-философских собраниях он как будто не бывал, или случайно, может быть (там все бывали). Но он был с самого зарождения журнала «Новый путь». В этом журнале была впервые напечатана целая серия его стихов о Прекрасной Даме. Очень помогал он мне и в критической части журнала. Чуть не в каждую

книжку давал какую-нибудь рецензию или статейку: о Вячеславе Иванове, о новом издании Вл. Соловьева... Стоило бы просмотреть старые журналы.

Но и до начала «Нового пути» мы уже были так дружны, что летом 1902 года, когда он уезжал в свое Шахматово (подмосковское имение, где он потом жил подолгу и любовно устраивал дом, сам работая) – мы все время переписывались. Поздней же осенью он приехал к нам на несколько дней в Лугу.

Дача у нас была пустынная, дни стояли, после дождливого лета, ярко-хрустальные, очень холодные.

Мы бродим по перелеску, кругом желтое золото, алость сентябрьская, ручей журчит во мхах, и такой – даже на вид холодный, хоть и солнце в нем отражается. О чем-то говорим, – может быть, о журнале, может быть, о чем-то совсем другом... вряд ли о стихах.

Никакие мои разговоры с Блоком невозможно передать. Надо знать Блока, чтобы это стало понятно. Он, во-первых, всегда будучи с вами, еще был где-то, – я думаю, что лишь очень невнимательные люди могли этого не замечать. А во-вторых, – каждое из его медленных, скупых слов казалось таким тяжелым, так оно было чем-то перегружено, что слово легкое, или даже много легких слов, не годились в ответ.

Можно было, конечно, говорить «мимо» друг друга, в двух разных линиях. Многие, при мне, так и говорили с Блоком, – даже о «возвышенных» вещах. Но у меня, при самом простом разговоре, невольно являлся особый язык: *между* словами и *около* них лежало гораздо больше, чем в самом слове и его прямом значении. Главное, важное, никогда не говорилось. Считалось, что оно – «несказанно».

Сознаюсь, иногда это «несказанное» (любимое слово Блока) меня раздражало. Являлось почти грубое желание все перевернуть, прорвать туманные покровы, привести к прямым и ясным линиям, впасть чуть не в геометрию. Притянуть «несказанное» за уши и поставить его на землю. В таком восстании была своя правда, но... не для Блока. Не для того раннего Блока, о котором говорю сейчас.

Невозможно сказать, чтобы он не имел отношения к реальности, еще менее, что он «не умен». А между тем все, называемое нами философией, логикой, метафизикой, даже религией, – отскакивало от него, не прилагалось к нему. Ученик и поклонник Владимира Соловьева – Блок весь был обращен к туманно-зыбкому провидению своего учителя: к его стихам, где появляется «Она», «Дева радужных ворот». Христианство Вл. Соловьева не коснулось Блока. В то время как Вл. Соловьев, для которого христианство и служило истоком его «провидений», мог безбоязненно перепрыгивать из одного порядка в другой, мог в «Трех встречах», – самой «несказанной» из поэм, – вдруг написать, захохотав, строчку: «Володенька, да как же ты глупа!» – Блок не умел этого. «Она» или сияла ему ровным не вечерним светом, или проваливалась, вместе с ним, в бездну, где уж не до невинных улыбок над собой.

5

Чем дальше, тем все яснее проступала для меня одна черта в Блоке, – двойная: его *трагичность*, во-первых, и во-вторых, его какая-то *незащищенность*... от чего? Да от всего: от самого себя, от других людей, – от жизни и от смерти.

Но как раз в этой трагичности и незащищенности лежала и главная притягательность Блока. Немногие, конечно, понимали это, но все равно, привлекались и не понимая.

Мои внутренние восстания на блоковскую «несказанность», тяжелым облаком его обнявшую и связавшую, были инстинктивным желанием, чтобы нашел он себе какую-нибудь защиту, схватился за какое-нибудь человеческое оружие. Но для этого надо было в свое время повзрослеть. Взрослость же – не безнадёжная, всеубивающая, о которой говорилось выше, но необхо-

димая взрослость каждого человека, – не приходила к Блоку. Он оставался, при редкостной глубине, – за чертой «ответственности».

Знал ли он сам об этом? Знал ли о трагичности своей и незащищенности? Вероятно, знал. Во всяком случае чувствовал он их, – и предчувствовал, что они готовят ему, – в полную силу.

6

Блок, я думаю, и сам хотел «воплотиться». Он подходил, принимал к жизни, но когда думал, что входит в нее, соединяется с нею, – она отвечала ему гримасами.

Я, впрочем, не знаю, как он подходил, с какими усилиями. Я пишу только о Блоке, которого видели мои собственные глаза.

А мы с ним даже и не говорили почти никогда друг о друге – о нашей человеческой жизни. Особенно в первые годы нашей дружбы. Во всяком случае, не говорили о фактах, прямо, а лишь «около» них.

Мне была известна, конечно, общая биография Блока, то, что его родители в разводе, что он живет с матерью и отчимом, что отец его – в прибалтийском крае, а сестру, оставшуюся с отцом, Блок почти не знает. Но я не помню, когда и как мне это стало известно. Отражения фактов в блоковской душе мне были известнее самих фактов.

Мы засиделись однажды – над корректурой или над другой какой-то работой по журналу – очень поздно. Так поздно, что белая майская ночь давно промелькнула. Солнце взошло и стояло, маленькое и бледное, уже довольно высоко. Но улицы, им облитые, были совершенно пусты: город спал, – ведь была глубокая ночь.

Я люблю эти солнечные часы ночного затишья, светлую жуть мертвого Петербурга (какое страшное в ней было предсказанье!).

Я говорю Блоку:

– Знаете? Пойдемте гулять.

И вот мы уже внизу, на серых, скрипящих весенней пылью, плитах тротуара. Улицы прямые, прямые, тишина, где-то за забором поет петух... Мы точно одни в целом городе, в нашем, нами милым. Он кажется мертвым, но мы знаем, – он только спит...

Опять не помню, о чем мы говорили. Помню только, что нам было весело, и разговор был легкий, как редко с Блоком...

Уже возвращаясь, почти у моей двери, куда он меня проводил, я почему-то спрашиваю его:

– А вы как думаете, вы женитесь, Александр Александрович?

Он неожиданно быстро ответил:

– Да. Думаю, что женюсь.

И прибавил еще:

– Очень думаю.

Это все, но для меня это было так ясно, как если бы другой весь вечер говорил мне о вот-вот предстоящей свадьбе.

На мой вопрос кому-то:

– Вы знаете, что Блок женится? – ответ был очень спокойный:

– Да, на Любочке Менделеевой. Как же, я знал ее еще девочкой, толстуха такая.

7

Все это лето мы с Блоком не переписывались. Осенью кто-то рассказал мне, что Блок, женившись, уехал в Шахматово, что жена его какая-то удивительная прелесть, что у них в Шахматове долго гостили Боря Бугаев и Сережа Соловьев (сын Михаила и Ольги Соловьевых).

Всю последующую зиму обстоятельства так сложились, что Блок почти не появлялся на нашем горизонте. Журнал продолжался (р. – ф. собрания были запрещены свыше), но личное горе, постигшее меня в начале зимы, приостановило мою работу в нем на некоторое время. У нас не бывал никто, – изредка молодежь, ближайшие сотрудники журнала, – все, впрочем, друзья Блока.

Помнится как-то, что был и он. Да, был, – в первый раз после своей женитьбы. Он мне показался абсолютно таким же, ни на йоту не переменившимся. Немного мягче, но, может быть, просто мы обрадовались друг другу. Он мне принес стихи, – и стихи были те же, блоковские, полные той же прелестью, говорящие о той же Прекрасной Даме.

И разговор наш был такой же. Только один у меня вырвался прямой вопрос, совсем ненужный, в сущности:

– Не правда ли, ведь, говоря о Ней, вы никогда не думаете, не можете думать, ни о какой реальной женщине?

Он даже глаза опустил, точно стыдясь, что я могу предлагать такие вопросы:

– Ну, конечно, нет, никогда.

И мне стало стыдно. Такой опасности для Блока, и женившегося, не могло существовать. В чем я его подозреваю! Надо же было видеть, что женитьба изменила его... пожалуй, даже слишком мало.

При прощании:

– Вы не хотите меня познакомить с вашей женой?

– Нет. Не хочу. Совсем не надо.

8

Мне не хотелось бы касаться никого из друзей Блока, только одного его друга (и бывшего моего) – Бориса Бугаева – «Андрея Белого» – обойти молчанием невозможно.

Он не умер. Для меня, для многих русских людей, он как бы давно умер. Но это все равно. О живых или о мертвых говоришь – важно говорить правду. И о живых и о мертвых, одинаково, нельзя сказать всей *фактической* правды. О чем-то нужно умолчать, и о худом, и о хорошем.

Об Андрее Белом, специально, мне даже и охоты нет писать. Я возьму прежнего Борю Бугаева, каким он был в те времена, и лишь постольку, поскольку того требует история моих встреч с Блоком.

Трудно представить себе два существа более противоположные, нежели Боря Бугаев и Блок. Их различие было до грубости ярко, кидалось в глаза. Тайное сходство, нить, связывающая их, не так легко угадывалась и не очень поддавалась определению.

С Борей Бугаевым познакомились мы приблизительно тогда же, когда и с Блоком (когда, вероятно, и Блок с ним познакомился). И хотя Б. Бугаев жил в Москве, куда мы попадали не часто, а Блок в Петербурге, отношения наши с первым были внешне ближе, не то дружеские, не то фамильярные.

Я беру Б. Бугаева в сфере Блока, а потому и не останавливаюсь на наших отношениях. Указываю лишь на разность этих двух людей. Если Борю иначе, как Борей, трудно было назвать. Блока и в голову бы не пришло звать «Сашей».

Серьезный, особенно неподвижный, Блок – и весь извивающийся, всегда танцующий Боря. Скупые, тяжелые, глухие слова Блока – и бесконечно льющиеся водопадные речи Бори, с жестами, с лицом вечно меняющимся, – почти до гримас. Он то улыбается, то презабавно и премило хмурит брови и скашивает глаза. Блок долго молчит, если его спросишь. Потом скажет «да». Или «нет». Боря на все ответит непременно; «Да-да-да»... и тотчас унесется в пространство на крыльях тысячи слов. Блок весь твердый, точно деревянный или каменный.

Боря весь мягкий, сладкий, ласковый. У Блока и волосы были темные, пышные, лежат, однако, тяжело. У Бори – они легче пуха, и желтенькие, точно у едва вылупившегося цыпленка.

Это внешность. А вот чуть-чуть поглубже. Блок, – в нем чувствовали это и друзья, и недруги, – был необыкновенно, исключительно правдив. Может быть, фактически он и лгал кому-нибудь, не знаю: знаю только, что вся его материя была правдивая, от него, так сказать, несло правдой. (Кажется, мы даже раз говорили с ним об этом.) Может быть, и косноязычие его, тяжелословие, происходило отчасти благодаря этой природной правдивости. Ведь Блока, я думаю, никогда не покидало сознание или ощущение, – очень прозрачное для собеседника, – что он *ничего не понимает*. Смотрит, видит, – и во всем для него, и в нем для всего, – недосказанность, неконченность, темнота. Очень трудно передать это мучительное чувство. Смотрит и не видит, потому что вот того не понимает, чего, кажется, не понимать и значит *ничего не понимать*.

Когда это постоянное состояние Блока выступало особенно резко, мне думалось: а вдруг и все «ничего не понимают», и редкость Блока лишь в том, что он с непрерывностью чувствует, что «ничего не понимает», а все другие – не чувствуют?

Во всяком случае, с Борей такие мысли в голову не приходили. Он говорил слишком много, слишком остро, оригинально, глубоко, – затейно, – подчас прямо блестяще. О, не только понимает, – он даже пере-перепонял... все. Говорю это без малейшей улыбки. Я не отказываюсь от одной своей заметки в «Речи», – она называлась, кажется, «Белая стрела». Б. Бугаев не гений, гением быть и не мог, а какие-то искры гениальности в нем зажигались, стрелы гениальности, неизвестно откуда летящие, куда уходящие, в него попадали. Но он всегда оставался их пассивным объектом.

Это не мешало ему самому быть, в противоположность правдивому Блоку, исключительно неправдивым. И что всего удивительнее – он оставался при том искренним. Но опять чувствовалась иная материя, разная природа. Блок по существу был верен. «Ты, Петр, камень»... А уж если не *верен* – так срывается с грохотом в такие тартарары, что и костей не соберешь. Срываться, однако, должен – ведь «ничего не понимает»...

Боря Бугаев – весь легкий, легкий, как пух собственных волос в юности, – он танцует перелетит, кажется, всякие «тарары». Ему точно предназначено их перелетать, над ними танцевать, – туда, сюда... направо, налево... вверх, вниз...

Боря Бугаев – воплощенная неверность. Такова его природа.

9

Что же связывало эти два, столь различные, существа? Какая была между ними схожесть?

Она была. Опять не коснусь «искусства», того, что оба они – поэты, писатели. Я говорю не о литературе, только о людях и о их душах, еще вернее – об их образах.

Прежде всего, они, Блок и Бугаев, люди одного и того же поколения (может быть, «полупоколения»), оба неизлечимо «незрелые». В человеке зрелом, если он человек не безнадежно плоский, остается, конечно, что-то от ребенка. Но Блок и Бугаев – это совсем не то. Они оба не имели зрелости, и чем больше времени проходило, тем яснее было, что они ее и не достигнут. Не разрушали впечатления незрелости ни серьезность Блока, ни громадная эрудиция Бугаева. Это было все *вместо* зрелости, но отнюдь не она сама.

Стороны *чисто* детские у них были у обоих, но разные: из Блока смотрел ребенок задумчивый, упрямый, испуганный, очутившийся один в незнакомом месте. В Боре – сидел баловень, фантаст, капризник, беззаконник, то наивный, то наивничающий.

Блок мало знал свою детскость. Боря знал отлично и подчеркивал ее, играл ею.

Оба они, хотя несколько по-разному, были безвольны. Над обоими властвовал рок. Но если в Блоке чувствовался трагизм – Боря был драматичен и, в худшем случае, мелодраматичен.

На взгляд грубый, сторонний, и Блок, и Бугаев казались, – скажем прямо, – людьми «ненормальными». И с той же грубостью толпа извиняла им «ненормальность» за их «талант», за то, что они «поэты». Тут все, конечно, с начала до конца – оскорбительно. И признание «ненормальности», и прощение за «поэзию». Что требовать с внешних? Беда в том, что этот взгляд незаметно воспринимался самими поэтами и писателями данного поколения, многими и многими (я не говорю тут собственно о Блоке и Бугаеве). Понемногу сами «служители искусства» привыкли оправдывать и безволие, и незрелость свою – именно причастностью к «искусству». Не видели, что отходят от жизни, становятся просто забавниками, развлекателями толпы, все им за это снисходительно позволяющей...

Впрочем, я отвлекаюсь. Вернемся к рассказу.

10

Весной 1904 года мы ездили за границу. Останавливались в Москве (мы тогда были в Ясной Поляне), конечно, видели Бугаева, хотя особенно точно я этого свидания не помню. Знаю лишь, что с Блоком в то время Бугаев уже был очень близок (а равно и молодой С. Соловьев).

Началом их близости было, помимо прочего, конечно, и то, что Бугаев считал себя не меньшим последователем В. Соловьева, чем Блок. Чуждый всякой философии и метафизики, Блок был чужд, как упомянуто выше, и подосновы В. Соловьева – христианства. Он принимал его в «несказанном». Напротив, Бугаев только и говорил, что о христианстве – с христианами преимущественно. К метафизике и философии он имел большое пристрастие, – хотя я не думаю, чтобы с Блоком он развивал свои философские теории. Надо сказать правду: Бугаев умел находить с каждым его язык и его тему.

Мы были с ним уже так хороши, что условились: Боря в Петербурге, куда он вознамерился приезжать часто, останавливается у нас.

Общие события лета и осени 1904 года памятли всем: убийство Плеве, «весна» Святополк-Мирского, – банкеты... У нас были свои частные события: привлечение в журнал «Новый путь» так называемых «идеалистов» (Булгакова, Бердяева и др.).

Я не пишу воспоминаний этого времени, а потому скажу вскользь: «Новый путь», по многим причинам разнообразного характера, мы решили 1904 годом закончить, и, конечно, желательнее было его кому-нибудь передать. Одна из причин была та, что мы хотели уехать года на три за границу. Срока отъезда мы, впрочем, не назначали, и если б удалось, привлечением новых людей к журналу, перестроить его так, как того требовало время (не изменяя, однако, его основ), мы рады были бы его продолжать. Короче и яснее – «Новый путь», журнал религиозный, был слишком индивидуалистичен: ему недоставало струи общественной. «Идеализм» группы Булгакова – Бердяева был тем мостом, по которому эта группа вчерашних чистых общественников (эсдеков) переходила к религии, – может быть, сама еще того не зная... (Будущее показало, что мы угадали верно, – в общем. Всем известно, как далеко, в последующие годы, ушли в сторону религии Булгаков и Бердяев, и как скоро мосты за ними были сожжены).

Надежды наши оправдались не вполне. Идеалисты вошли в «Новый путь», но при самом соединении было ясно, что для совместной работы еще не настал момент: они – еще слишком «эсдеки», мы – еще слишком индивидуалисты.

И, фактически, уже к концу года журнал был передан им, с тем, чтобы далее он, переименовавшись в «Вопросы жизни», продолжался без нашего участия. Естественно, изменялся

и состав сотрудников. Это было решено полюбовно, хотя не могу не сказать, что у нас было больше доброй воли к соединению и уступкам. Но привычное недоверие чистых общественников к людям искусства, да еще с уклоном к христианству – не привычно ли «религия – реакция»? – не удивило нас и в «идеалистах».

Секретарь журнала, Чулков, оставался секретарем и в «Вопросах жизни». Он уже и при конце «Нового пути» перешел всецело на сторону новой группы. С ним и с Булгаковым у меня было, – в декабре, кажется, – единственное журнальное столкновение, очень характерное для наших взаимоотношений и показательное для тогдашнего положения Блока. Ибо оно вышло как раз из-за моей статьи о Блоке, первой, кажется. Она была, конечно, о его стихах. И вот Чулков и Булгаков дали мне понять, что тема недостаточно общественна, а Блок недостаточно замечателен, и статья моя, при новом облике журнала, не может пойти. Признаюсь, эта нелепость меня тогда раздосадовала, и правдами и неправдами – заметку удалось напечатать. Все-таки это был еще «Новый путь»! В «Вопросы жизни» мы больше ни с чем не ходили, конечно, хотя до конца оставались со всеми его участниками в самых дружеских отношениях, – с Бердяевым в особенности.

Но не показательно ли это приключение, с первой моей статьей о Блоке, чуть ли не одной из первых о нем вообще? Он писал четыре года. А в журналистике был так неизвестен, что и говорить о нем не считалось нужным!

Со всеми памятыми датами тех времен у меня больше связывается образ Бугаева, чем Блока. Связывается внешне, ибо по странной случайности Боря, который стал часто ездить в Петербург и останавливался у нас, являлся непременно в какой-нибудь знаменательный день. Было ли это 9 января, или 17 октября, или еще что-нибудь вроде (в самый последний раз, увы, тоже случилось 1–2–3 марта 1917 г.) – помню обязательно тут же гибкую фигуру Бори, изумленно-косящие голубые глаза, слышу его своеобразные речи, меткие и детские словечки... Боря все видел, везде был, все понял – по-своему, конечно, и в его восторженность вплетается ирония.

Наезжая в Петербург, Боря постоянно бывал у Блока. Рассказывал ли мне он о Блоке? Вероятно. Однако я не помню, чтоб он мне говорил о том, как отражаются на Блоке события. Раз он мне прочел (или показал) новое стихотворение Блока, где рифмовал «ниц» и «царицу». Стихотворение было хорошее, но рифма меня не очаровала.

– Вам нравится. Боря, это «цариц-у»?

Он неистово захохотал, подпрыгнул, чуть ли в ладоши не захлопал:

– Да, да, это именно у-у-у! Как тут нравится, когда цариц-у-у-у!

Вот в таких пустяках являлся тогда Блок между нами.

11

Зима 1905–1906 года, – последняя зима пред нашим отъездом за границу надолго, – памятна мне, в конце, частыми свиданиями уже не с Блоком только, но с ним и его женой. Как случилось наше знакомство – не знаю, но помню часто их всех трех у нас (Боря опять приехал из Москвы), даже ярче всего помню эту красивую, статную, крупную женщину, прелестную тем играющим светом, которым она тогда светилась.

В феврале мы уехали, расставшись со всеми очень дружески, даже нежно.

Но по каким-то причинам, неуловимым – и понятным, ни с кем из них, даже с Борей, у меня переписки не было. Так, точно оборвалось.

12

Со сведениями о России много, конечно, приходило к нам и вестей о Блоке. С одной стороны – о его общественных выступлениях, участии в газете А. Тырковой, очень недолгом, правда, и окончившемся как-то неожиданно. С другой – известия о внезапной его чуть не славе в буйно завившейся после революции литературной среде, – театр Комиссаржевской, «Балаганчик»...

Но все это смутно, из вторых, третьих рук.

И только однажды, на несколько месяцев, Блок выступил из тумана. По крайней мере имя его стало у нас постоянно повторяться.

Кто-то позвонил к нам, днем.

«Monsieur»... не понимаю имени. Выхожу в переднюю. Там стоит, прислонившись к стене, в немецкой черной пелерине, – и в самом несчастном виде, – Боря Бугаев.

Явление весьма неожиданное в нашей парижской квартире.

Оказалось, что Боря уже давно странствует за границей. Не понять было сразу, как, что, зачем, почему. Шатался – именно шатался – по Германии. Вывез оттуда гетры, пелерину и трубку. Теперь приехал в Париж. Вид имел не улыбающийся, растерянный. Сказал, однако, что намерен остаться в Париже на неопределенное время.

И остался. Жить в нашей парижской квартире было негде, и он поселился недалеко, в маленьком пансиончике, – мы видались, конечно, всякий день.

Скажу в скобках, что в этом пансиончике он ежедневно завтракал... с Жоресом! И, в конце концов, они познакомились, даже велись постоянные долгие разговоры. Боже мой – о чем? Но воистину не было человека, с которым не умел бы вести долгих разговоров Боря Бугаев!

13

Об этих месяцах с Борей в Париже, о наших прогулках по городу и беседах не стоило бы здесь говорить, если бы темой этих бесед не был, почти постоянно, – Блок.

Мой интерес к Блоку, в сущности, не ослабевал никогда. Мне было приятно как бы вызывать его присутствие (человек, о котором думаешь или говоришь, всегда немного присутствует). То, что Боря, вчерашний страстный друг Блока, был сегодня его таким же страстным врагом, – не имело никакого значения.

Да, никакого, хотя я, может быть, не сумею объяснить, почему. Надо знать Борю Бугаева, чтобы видеть, до какой степени легки повороты его души. Сама вертится. И это его душа вертится, туда-сюда, совсем неожиданно, а ведь Блок тут ни при чем. Блок остается как бы неизменяемым.

Надо знать Борю Бугаева, понимать его, чтобы не обращать никакого внимания на его отношение к человеку в данную минуту. Вот, он говорит, что любит кого-нибудь. С блеском и проникновением рисует он образ этого человека, а я уже знаю, что завтра он его же будет ненавидеть до кровомщения, до желания убить... или написать на него пасквиль, с блеском нарисует его образ темными красками... Какое же это имеет значение, если, конечно, думать не о Бугаеве, а о том, на кого направлены стрелы его любви или ненависти?

Как бы то ни было, эти месяцы мы прожили, благодаря Бугаеву, в атмосфере Блока. И хотя отношение мое к Бугаеву самое было доброе, на мне нет участия греха в мгновенной перемене его к Блоку. Боря ведь и мой был «друг»... такой же всегда потенциально-предательский. Он – Боря Бугаев.

А Блок, сделавшись более понятным со всех сторон, – сделался мне ближе. Опять думалось; какие разные люди, эти два «друга», два русских поэта, оба одного и того же поколения и, может быть, связанные одной и той же, – неизвестной, – судьбой...

14

Снова Петербург. Та же комната, та же лампа на столике, отделяющем мою кушетку от кресла, где сидит тот же Блок.

Как будто и не было этих годов... Нет, нет, как будто прошло не три года, а три десятилетия.

Лишь понемногу я нахожу в Блоке старое, неизменное, неизменяемое. По внешности он изменился мало. Но при первых встречах чувствовалось, что мы еще идем друг к другу издалека, еще не совсем узнаем друг друга. Кое-что забылось. Многое не известно. Мы жили – разным.

Скоро вспомнилась инстинктивная необходимость говорить с Блоком особым языком – *около* слов. Тут неизменность. Стал ли Блок «взрослым»? У него есть, как будто, новые выражения и суждения – «общие»... Нет, и это лишь внешность. Так же мучительно задумчивы и медленны его речи. А каменное лицо этого, ныне такого известного и любимого поэта, еще каменнее, на нем печать удивленного, недоброго утомления. И одиночества, не смиренного, но и не буйного, – только трагичного.

Впрочем, порою что-то в нем новое настойчиво горело и волновалось, хотело вырваться в слова – и не могло, и тогда глаза его делались недоуменно, по-детски, огорченными.

Блок читает мне свою драму, самую – до сих пор! – неизвестную вещь из своих произведений. (Не помню ее ни в печати, ни на сцене.) По тогдашнему моему впечатлению – она очень хороша, несмотря на неровность, условность, порою дикость. Его позднейшая пьеса «Роза и крест», – какая сравнительно слабая и узкая!

Эта – в прозе. Заглавия не помню, – мы, говоря о ней, называли ее «Фаиной», по имени героини. Блок читает, как говорит: глухо, однотонно. И это дает своеобразную силу его чтению.

Очень «блоковская вещь». Чем дальше слушаю, тем ярче вспоминаю прежнего, юного, вечного Блока. Фаина? Вовсе не Фаина, а все та же Прекрасная Дама, Она, Дева радужных ворот, никогда – земная женщина.

Ты в поля отошла без возврата,
Да святится Имя твое..

Нет, не без возврата...

...года проходят мимо.
Предчувствую, изменишь облик Ты.

Я говорю невольно:

– Александр Александрович. Но ведь это же не Фаина. Ведь это опять Она.

– Да.

Еще несколько страниц, конец, и я опять говорю, изумленно и уверенно:

– И ведь Она, Прекрасная Дама, ведь Она – Россия!

И опять он отвечает так же просто:

– Да. Россия... Может быть, Россия. Да.

Вот это и было в нем, в Блоке, новое, по-своему глубоко и мучительно оформившееся, или полуоформившееся. Налетная послереволюционная «общественность» на нем не держалась. В разговорах за столом, при других, он произносил какие-то слова «как все», и однако не был «как все», и с нашими тогдашними настроениями, довольно крайними, совсем не гармонировал.

Наедине с ним становилось понятней; он свое, для себя, вырастил в душе. Свою Россию – и ее полюбил, и любовь свою полюбил – «несказанную».

15

Блок был нездоров. Мы поехали к нему как-то вечером, в маленькую его квартирку на Галерной.

Сжато, уютно, просто. Много книг. Сам Блок дома сжатый и простой. Л. Д., жена его, – очень изменилась. Такая же красивая, крупная, – слишком крупная для маленьких комнат, маленького чайного стола, – все-таки была не та. В ней погас играющий свет, а от него шла ее главная прелесть.

Мы знали, что за эти годы она увлеклась театром, много работала, ездила по России с частной труппой. Но, повторяю, не это ее изменяло, да и каботинка в ней, такой спокойной, не чувствовалась. В ней и свет был, но другой, не тот, не прежний, и очень вся она была иная.

Помнилась и она, однако такой, как была перед отъездом нашим, и хотелось с ними обоими найти хоть какую-нибудь жизненную или общественную связь. Надо сказать, что за время нашего отсутствия в Петербурге создалось (из остатков прежних религиозно-философских собраний) целое Р. Ф. Общество, официально разрешенное. Мы в нем принимали, конечно, участие, – это был как раз «сезон о Боге», когда начались наши столкновения с эсдеками (эсдеки и выдумали нелепое разделение на «богостроителей» и «богоискателей»). Но общество, многолюдное и чисто интеллигентское, не удовлетворяло нас. И мы вздумали создать секцию, нечто более интимное, но в то же время и более широкое по задачам. Чтобы обойти цензуру – назвали секцию секцией «по изучению истории религий». Непременно хотелось привлечь в эту секцию обоих Блоков. Блок несколько раз приходил к нам, когда создавалась секция, был чуть ли не одним из ее «учредителей».

Однако после нескольких заседаний и он, и жена его – исчезли. Да так, что и к нам Блок перестал ходить.

Встречаю где-то Любовь Дмитриевну.

– Отчего вас не видно на Гагаринской? (Там собиралась секция.) Надоело? Заняты?

Ответ получаю наивно-прямой, который сам Блок не дал бы, конечно: на Гагаринской говорят о том, что... должно быть «несказанно».

В наивном ответе была тень безнадежной правды: и мы поняли, что ни в каких «секциях», даже самых совершенных, Блок бывать не будет и бывать не может.

16

В эти годы, такие внешне-шумные, порою суетливые, такие внутренне трудные, тяжелые и сосредоточенные, – я помню Блока все время около нас, но не с нами. Не в нашей жизни – а близ ее. У меня была потребность видеть его. Очевидно, была она и у него, – он приходил часто. Но всегда один и тогда, когда мы бывали одни. Приходил надолго. Мы засиживались с ним – иногда и наедине – до поздней ночи. Читал мне свое, или просто говорили... о чем? Не о стихах, не о людях, не о нем, – а то, пожалуй, и о стихах, и о людях, и о нем, в особом аспекте, как über die letzten Dinge – как «о самых важных, последних вещах» – около них, разумеется.

Нам, конечно, известно было то, что говорили о Блоке: говорили, что он «кутит»... нет, что он пьет, уходя один, пропадая по целым ночам... Удивлялись: один! Точно это было удивительно. Не удивительно. А если важно – то не само по себе, а вот то, что тут опять и блоковское одиночество, трагичность – и «незащищенность»... от рока, от трагедии?

Между нами разговора об этом не было. Да и зачем? Были его стихи.

Еще менее, чем о нем, говорили мы обо мне. Никогда, кажется, слова не сказали. Раз, он пришел, – на столе лежала рукопись второй книжки моих стихов, приготовленная к печати. Блок стал смотреть ее, очень внимательно (хотя все стихи он уже знал давно).

Я говорю:

– Хотите, Александр Александрович? Выберите, какие вам больше нравятся, я вам их посвящу.

– Можно? Очень хочу.

Долго сидел за столом. Выбрал несколько одно за другим. Выбрал хорошие или плохие – не знаю, во всяком случае те, которые мне были дороже других.

17

А вот полоса, когда я помню Блока простого, человеческого, с небывало-светлым лицом. Вообще – не помню его улыбки. Если и была – то скользкая, незаметная. А в этот период помню именно улыбку, озабоченную и нежную. И голос точно другой, теплее.

Это было, когда он ждал своего ребенка, а больше всего – в первые дни после его рождения.

Случилось, и довольно неожиданно (ведь мы реальной жизнью мало были связаны), что в эти серьезные для Блока дни мы его постоянно видели, он все время приходил. Не знаю, кто о жене его заботился, и были ли там чьи-нибудь понимающие заботы (говорил кто-то после, что не было). Мы едва мельком слышали, что она ожидает ребенка. Раз Блок пришел и рассказал, что ей вдруг стало дурно и он отвез ее в лечебницу. «И что же?» – спрашиваем. «Ничего, ей теперь лучше».

День за день, – наступили необыкновенно трудные роды. Почему-то я помню ночные телефоны Блока из лечебницы. Наконец, однажды, поздно, известие: родился мальчик.

Почти все последующие дни Блок сидел у нас вот с этим светлым лицом, с улыбкой. Ребенок был слаб, отравлен, но Блок не верил, что он умрет: «Он такой большой». Выбрал имя ему Дмитрий, в честь Менделеева.

У нас в столовой, за чаем, Блок молчит, смотрит не по-своему, светло – и рассеянно.

– О чем вы думаете?

– Да вот... Как его теперь... Митьку... воспитывать?..

Митька этот бедный умер на восьмой или десятый день.

Блок подробно, прилежно рассказывал, объяснял, почему он не мог жить, должен был умереть. Просто очень рассказывал, но лицо у него было растерянное, не верящее, потемневшее сразу, испуганно-изумленное.

Еще пришел несколько раз, потом пропал.

Уже долгое время, когда Л. Д. совсем поправилась, они приехали к нам оба, прощаться: уезжают за границу. «Решили немножко отдохнуть, другие места повидать...»

У обоих лица были угасшие, и визит был ненужный серый. Все казалось ненужным. Погасла какая-то надежда. Захлопнулась едва приоткрывшаяся дверь.

18

Может быть, кто-нибудь удивится, не поймет меня: какая надежда для Блока в ребенке? Блок – отец семейства! Он поэт, он вечный рыцарь, и если действительно был «невзрослым», то не прекрасно ли это – вечный юноша? Останься сын его жив, – что дал бы он поэту? Кое-что это отняло бы, скорее. Замкнуло бы, пожалуй, в семейный круг...

Трудно отвечать на размышления такого порядка. Скажу, впрочем, одно: Блок сам инстинктивно чувствовал, что может дать ему ребенок, и как ему это нужно. А мог он ему дать кровную связь с жизнью и *ответственность*.

При всей значительности Блока, при его внутренней человеческой замечательности, при отнюдь не легкой, но тяжелой и страдающей душе, я повторяю – *он был безответствен*. «Невзрослость» его, это нечто совсем другое, нежели естественная, полная сил, светлая юность. А это вечное хождение *около* жизни? А это бескрайнее, безвыходное одиночество? В ребенке Блок почуял возможность прикоснуться к жизни с тихой лаской. Возможность, что жизнь не ответит ему гримасой, как всегда. Не в отцовстве тут было дело: именно в новом чувстве ответственности, которое одно могло *доверить* его, как человека.

Сознавал ли это Блок так ясно, так грубо, как я сейчас пишу? Нет, конечно. Но весь просветлел от одной надежды. И когда она погасла – погас и он. Вернулся в свою муку «ничегонепонимания», еще увеличившуюся, ибо он не понимал и этого: зачем была дана надежда и зачем была отнята.

19

Своеобразие Блока мешает определять его обычными словами. Сказать, что он был *умен*, так же неверно, как вопиюще неверно сказать, что он был глуп. Не эрудит – он любил книгу и был очень серьезно образован. Не метафизик, не философ – он очень любил историю, умел ее изучать, иногда предавался ей со страстью. Но, повторяю, все в нем было своеобразно, угловато, – и неожиданно. Вопросы общественные стояли тогда особенно остро. Был ли он вне их? Конечно, его считали аполитичным и – готовы были все простить ему «за поэзию». Но он, находясь вне многих интеллигентских группировок, имел, однако, свои собственные мнения. Неопределенные в общем, резкие в частностях.

Столкновения, которые когда-либо происходили между нами и Блоком, были только на этой почве. Мимолетные, правда: ведь общих дел у нас не было, приходил он к нам один, да и касаться этих вопросов мы избегали. Но подчас столкновения были резкие. Не помню их ясно, – о последнем, главном, речь впереди.

Иногда Блок совершенно исчезал. Возвращаясь раз в ярко-солнечный вечер, мы заехали к нему.

Светлая, как фонарик, вся белая, квартирка в новом доме на Каменноостровском. Как непохожа на ту, на Галерной!

Нас встретила его жена. А Блок еще спал... Вернулся поздно, – как дала нам понять Л. Д., – только утром. Через несколько времени он вышел. Бледный, тихий, каменный, как никогда. Мы посидели недолго. Было темно в светлой, словно фонарь, квартирке.

На возвратном пути опять вспомнился мне – вечно пребывающий, вечно изменяющийся облик Прекрасной Дамы:

По вечерам, над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными

Весенний и тлетворный дух.

.....

И каждый вечер в час назначенный
(Иль это только снится мне?)
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.

И, медленно пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука...

.....

В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне.
Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю, истина в вине.

«Незнакомка» всем известна. Но кто понял это стихотворение до дна? А вот две строки из другого, строки страшные и пророческие:

О, как паду, и горестно, и низко.
Не одолев смертельные мечты.

Ужас предчувствия: «Изменишь облик Ты» – исполнялся, но еще далеко было до исполнения. «Она» в черном, не в белом платье, и не над вечерней рекой, не под радужными воротами, а «меж пьяными» – о, это еще не так страшно. Это еще не все.

20

Так как я пишу почти исключительно о том Блоке, которого видели мои глаза, то сами собой выпадают из повествования все рассказы о нем, о его жизни, – правдивые или ложные, кто разберет?

Друг-враг его, Боря Бугаев (теперь уже окончательно Андрей Белый) давно, кажется, опять стал его «другом». Но я плохо знаю новые отношения, потому что в последние годы перед войной редко виделись мы и с А. Белым: он женился на московской барышне (на сестре ее женился Сергей Соловьев), долго путешествовал и, наконец, сделавшись яростным последователем д-ра Штейнера, поселился с женой у него в Швейцарии. Однажды, проездом в Финляндию (Штейнер тогда был в Гельсингфорсе), А. Белый появился к нам. Бритый, лысый (от золотого пуха и воспоминаний не осталось) он, однако, по существу был тот же Боря: не ходил – а танцевал, садился на ковер, пресмешно и премило скашивал глаза, и так же водопадны

были его речи, – на этот раз исключительно о д-ре Штейнере и антропософии. А главное – чувствовалось, что он также не отвечает за себя и свои речи, ни за один час не ручается, как раньше. И было скучно.

С Блоком в эти зимы у нас установились очень правильные и, пожалуй, близкие отношения. Приходил, как всегда, один. Если днем, – оставался обедать, уходил вечером.

Несколько раз являлся за стихами для каких-то изданий, в которых вдруг начинал принимать деятельное участие: «Любовь к трем апельсинам» или сборник «Сирин».

По моей стихотворной непродуктивности, найти у меня стихи – дело нелегкое. Но Блоку отказывать не хотелось. И вот мы вместе принимались рыться в старых бумагах, отыскивая что-нибудь забытое. Если находили там (да если и в книжке моей), являлось новое затруднение: надо стихи переписывать. Тут Блок с немедленной самоотверженностью сел за мой стол и не вставал, не переписав всего, иногда больше, чем нужно: так, у меня случайно остался листок с одним очень старым моим, никогда не напечатанным, стихотворением – «Песня о голоде», переписанном рукой Блока.

Блок уже издал «Розу и крест», собирался ставить ее в Москве, у Станиславского. «Роза и крест» обманула мои ожидания. Блок подробно рассказывал мне об этой пьесе, когда только что ее задумывал. В ней могло быть много пленительности и острой глубины. Но написанная – она оказалась слабее. Блок это знал, и со мной о пьесе не заговаривал. Мне и писать о ней не хотелось.

21

Каждую весну мы уезжали за границу. Летом возвращались – но Блок уже бывал у себя в деревне. Иногда летом писал мне. А осенью опять начинались наши свидания. В промежутках, если проходила неделя-две, мы разговаривали по телефону, – бесконечно, по целым часам. Медлительная речь Блока по телефону была еще медлительнее. Как вчера помню, – на мое первое «алло!» его тяжелый голос в трубку: «Здравствуйте», – голос, который ни с чьим смешать было нельзя, и долгие, с паузами речи. У меня рука уставала держать трубку, но никогда это не было болтовней, и никогда мне не было скучно. Мы спорили, порою забывая о разделяющем пространстве, о том, что не видим друг друга. И расставались, как после свидания.

22

Война.

Трудно мне из воспоминаний об этих вихревых первых месяцах и годах выделить воспоминание о Блоке. Уж очень сложна стала жизнь. Война встряхнула русскую интеллигенцию, создала новые группировки и новые подразделения.

Насколько помню – первое «свидание» наше с Блоком после начала войны – было телефонное. Не хотелось, – да и нельзя было говорить по телефону о войне, и разговор скоро оборвался. Но меня удивил возбужденный голос Блока, одна его фраза: «Ведь война – это прежде всего *весело!*»

Зная Блока, трудно было ожидать, что он отнесется к войне отрицательно. Страшило скорее, что он увлечется войной, впадет в тот неумеренный военный жар, в который впали тогда многие из поэтов и писателей. Его «весело» уже смущало...

Однако, скажу сразу, этого с Блоком не случилось. Друга в нем непримиримые, конечно, не нашли. Ведь если на Блока наклеивать ярлык (а все ярлыки от него отставали), то все же ни с каким другим, кроме «черносотенного», к нему и подойти было нельзя. Это одно уже заставляло его «принимать» войну. Но от «упоеания» войной его спасала «своя» любовь к России, даже не любовь, а какая-то жертвенная в нее влюбленность, беспредельная нежность. Рыцар-

ское обожание... ведь она была для него, в то время, – Она, вечно облик меняющая «Прекрасная Дама»...

23

Мы стали видеться немного реже и, по молчаливому соглашению, избегали говорить о войне. Когда все-таки говорили, – спорили. Но потом спор обрывался. Упирались, как в стену, в то, что одни называли блоковским «черносотенством», другие – его «аполитичностью».

Для меня – это была «трагедия безответственности». И лучше, думалось, этого не касаться...

Ранней весной должна была идти, в Александринском театре, моя пьеса «Зеленое кольцо». (История ее постановки с Савиной, Мейерхольдом и т. д. сама по себе любопытна и характерна, но к Блоку отношения не имеет, и я ее опускаю.) Блок пьесу знал еще в рукописи. Она ему почему-то особенно нравилась.

Шли репетиции. Ни на одну мне не удавалось попасть. Их назначали по утрам. Случайно единственную назначили вечером. Принесли извещение, когда у нас сидел Блок.

– Хотите, пойдемте вместе? – говорю ему. – Заезжайте за мною, и назад привезите. Не хотите – пусть Мейерхольд обижается, не поеду.

– А меня не погонят? – с шутливой опаской спросил Блок, и сейчас же согласился.

Был февраль. Еще холодно, не очень снежно. Едем в автомобиле по ровной, как стрела, Сергиевской, – полутемной (война!). Я, кажется, убеждаю Блока не писать в «Лукоморье» (нововременский журнал). Потом переходим на театр. Я не верю в театр. Не должен ли он непременно исказить написанное?

– Вы были довольны, А. А., вашими пьесами у Комиссаржевской?

Блок молчит. Потом с твердостью произносит:

– Нет. Меня оскорбляло.

Кажется, и он не верит в театр.

В темной зале, невидные, мы просидели вместе с Блоком все акты (3-й, с Савиной, не репетировался). Конечно, чепуха. Привыкнув играть любовников – актеры не могли перевоплотиться в гимназистов. Когда один, перед поцелуем, неожиданным (по смыслу) для него самого, вдруг стал озиаться, даже заглянул за портьеру. Блок прошептал мне: «Это уж какая-то порнография!»

Лучше других была Рощина-Инсарова. Но и она не удовлетворяла Блока. В первом перерыве он ей послал записочку: *«Спросите Блока. Он вам хорошо скажет»*.

Кажется, они потом долго разговаривали.

Мейерхольд был в ударе. Собрал всех актеров в фойе, произнес горячую назидательную речь. И мы уехали с Блоком домой, пить чай.

24

Блок не пошел на войну. Зимой 15–16 года он жил уединенно, много работал. У меня в эту зиму, по воскресеньям, собиралось много молодежи, самой юной, – больше всего поэтов: их внезапно расплодилось неистовое количество. Один приводил другого, другой еще двух, и так далее, – пока не пришлось подумать о некотором сокращении. Иных присылал Блок, этим всегда было место. Блок интересовался моими сборищами и часто звонил по телефону в воскресенье вечером.

Приходил же, как всегда, когда не было никого. Раз, случайно – днем, – столкнулся у нас с Марьей Федоровной (женой Горького). Она у нас вообще не бывала. Очевидно, дело какое-то оказалось, какой-нибудь сборник – не знаю. Мы иногда встречались с нею и с Горьким в

эти зимы у разных людей (Горький заезжал и к нам – чуть ли не предлагал стихи мои издать, но мы это замяли).

Жена Горького, впоследствии усердная «комиссарша» совдепских театров, была, пока что, просто зрелых лет каботинка, на всех набегавшая, как беспокойная волна.

Вижу ее и Блока сидящими за чайным столом друг против друга. Пяти минут не прошло, как уж она на Блока набегала с какими-то весьма умеренными, но «эсдечными», – по Горькому, – мнениями.

Ей удавалось произнести слов 50–60, пока Блок успевал выговорить четыре. Это его, очевидно, раздражало, и слова, спокойные, становились, однако, все резче.

Марья Федоровна без передышки насканивала и стрекотала: «Как вы можете не соглашаться, неужели вы не знаете положения, кроме того, общество... кроме того, правительство... цензура не позволяет... честные элементы... а она... они... их... оно...» Блок словно деревянным молотком стучал упрямо: «Так и надо. Так и надо».

С художественной точки зрения эта сцена была любопытна, однако мы вздохнули свободнее, когда она кончилась и Марья Федоровна уехала.

Уехала, но с Блока не сошло упрямство. Он и без нее продолжал твердить то же, в том же духе, ни на пядь не уступая. Доконала она, видно, его. Мы постарались совсем повернуть разговор. Не помню, удалось ли это.

25

Длинная статья Блока, напечатанная в виде предисловия к изданию сочинений Ап. Григорьева, до такой степени огорчила и пронзила меня, что показалось невозможным молчать. Статья была принципиальная, затрагивала вопрос очень современный и, на мой взгляд, важный: *о безответственности* поэта, художника, писателя – как человека. На примере Ап. Григорьева и В. Розанова Блок старался утвердить эту безответственность и с величайшей резкостью обрушивался как на старую интеллигенцию с ее «заветами», погубившую будто бы Ап. Григорьева (зачем осуждала бесшабашность и перекидничество его), так и на нетерпимость (?) новой, по отношению Розанова. Кстати, восхвалялись «Новое время» и Суворин-старик (этот типичнейший русский нигилист), не смотревший ни на гражданскую, ни на человеческую мораль Розанова.

Много чего еще было в статье Блока. И в ответной моей тоже (впоследствии напечатанной в сборнике «Огни»), – суть ее определялась эпиграфом:

Поэтом можешь ты не быть,
Но человеком быть обязан.

Печатать статью, не прочтя ее раньше Блоку, мне и в голову, конечно, не приходило. Мы сговорились с ним, – это было поздней весной 16-го года, – и он явился вечером, светлым, голубеющим, теплым: помню раскрытые низкие окна на Сергиевскую, на весенние деревья Таврического парка, за близкой решеткой.

Мне памятен этот вечер со всеми его случайностями. Когда мы еще сидели в столовой, – в передней, рядом, позвонили, и вбежала незнакомая заплаканная девушка. Бросилась ко мне, забормотала, всхлипывая:

– Защитите меня... Меня увозят, обманом... Вы написали «Зеленое кольцо»... Вы поймете...

И вдруг, взглянув в открытую дверь столовой, вскрикнула:

– Вот, у вас Блок... Он тоже защитит, поможет мне... Умоляю, не отдавайте меня ему...

Блок вышел в переднюю. Мы стояли с ним оба беспомощные, ничего не понимая. Девушка, неизвестная и Блоку, была явно нервно расстроена. Не знаю, чем бы это кончилось, но тут опять позвонили и вошел «он», брат девушки, очень нежно стал уговаривать ехать с ним – домой (как он говорил). Общими силами мы ее успокоили, уговорили, отпустили.

Впоследствии узналось, что девушка, хоть и действительно нервно расстроенная, не совсем была неправа, спасаясь от брата. Темная какая-то история, с желанием братьев, из расчета, упрятать сестру в лечебницу... Темная история.

Но что мы могли сделать? Мог ли когда-нибудь человек помочь человеку?

Мы, однако, невольно омрачились. И без того грусть и тревога лежали на душе.

Все это было, кажется, в последний,
В последний вечер, в вешний час.
И плакала безумная в передней,
О чем-то умоляя нас.
Потом сидели мы под лампой блеклой.
Что золотила тонкий дым.
А поздние, распахнутые стекла
Отсвечивали голубым...

В моем кабинете, под этой «блеклой» лампой, медленно куря одну тонкую папиросу за другой, Блок выслушал мои о нем довольно резкие строки. Мне хотелось стряхнуть с нас обоих беспредметную грусть этого свидания. Лучше спорить, горячиться, сердиться...

Спор был, но и он вышел грустный. Блок возражал мне, потом вдруг замолчал. Через минуту заговорил о другом, – но понятно было, что не о другом, о том же, только не прямо о предмете, а, как всегда он говорит, – *около*.

Не хотелось говорить и мне. Да, все это так, и нельзя не требовать от каждого человека, чтобы он был человеком, и не могу я от Блока этого не требовать, но... как больно, что я не могу и не перестану! В эту минуту слабости и нежности хотелось невозможного: чтобы прощалось, вот таким, как Блок, непрощаемое. Точно от прощения что-нибудь изменилось бы! Точно свое непрощаемое, свою трагедию, не нес Блок в самом себе!

Мы сидели поздно, совсем заголубели окна. Никогда, кажется, не говорили мы так тихо, так близко, так печально.

Даже на пустынной улице, около свежего сада, он еще остановился, и мы опять говорили о чем-то, о саде, о весне, опять по-ночному тихо, – окна у меня были низкие.

...Ты, выйдя, задержался у решетки,
Я говорил с тобою из окна.
А ветви юные чертились четко
На небе – зеленой вина.
Прямая улица была пустынна.
Я не прощу. Душа твоя невинна.
Я не прощу ей – никогда.

Вернувшись осенью 16-го года в Петербург из деревни, мы узнали, что Блок, если не на фронте – то недалеко от фронта: служит в Земско-городском союзе. Вести о нем приходили хорошие: бодр, деятельно работает, загорел, постоянно на лошади... Мать сообщала мне, что очень довольна его письмами, хотя они кратки: некогда.

26

Я, может быть, увлекаюсь и злоупотребляю подробностями встреч моих с Блоком. Но кому-нибудь из любящих его память будут интересны и они. Теперь досказать осталось не много.

Дни революции. В самый острый день, а для нас даже в самый острый момент (протоповские пулеметы с крыш начали стрелять в наши окна, то с улицы, то со двора), – внезапное появление Б. Бугаева – Андрея Белого. Он уже с год как приехал из Швейцарии в Москву, один, говорил, что ввиду призыва, но на войну не пошел. Связался с издательством одной темной личности – Иванова-Разумника, что-то писал у него, ездил к нему в Царское Село. В этот день он мирно ехал из Царского, где было еще тихо, и обалдел, выйдя из вагона прямо на улицы революционного города. В шубе до пят – он три часа волокся к нам пешком, то и дело заваливаясь под заборы, в снег, от выстрелов. Так обезножел, что у нас в квартире и остался (да и выйти побаивался).

Опять вижу в эти дни танцующую походку, изумленно скошенные глаза, гомерические речи и вскрики: «Да-да-да, теперь русский флаг – будет красный флаг? Правда? Правда, надо, чтоб был красный?»

Без моего погибшего дневника не могу восстановить даты, но скоро, очень скоро после революции, через неделю или две, вот Блок, в защитке, которая его очень изменяет, взволнованно шагающий по длинной моей комнате. Он приехал с фронта, или оттуда, где он находился, – близ северо-западного фронта.

В торопливо-радостные дни это все было радостно и спешно, люди приходили, уходили, мелькали, текли, – что запоминалось? Что забывалось?

Но Блок, в высоких сапогах, стройно схваченный защиткой, непривычно быстро шагающий по моему ковру, – ярко помнится. И слова его помнятся, все те же он повторял:

– Как же теперь... ему... русскому народу... лучше послужить?

Лицо у него было не просветленное, мгновеньями потерянное и недоуменное. Все кругом было так непохоже на прежнее, несоизмеримо с ним. Почему вдруг вспомнилось лицо Блока, тоже растерянное, только более молодое и светлое, и слова:

– Как же теперь... его... Митьку... воспитывать?

Тогда только промелькнуло, а теперь, когда вспоминаю это воспоминание, – мне страшно. Может быть, и тут для Блока приоткрылась дверь надежды? Слишком поздно?

27

Наступил период, когда я о Блоке ничего не помню. Кажется, он опять уехал к месту службы. Потом мы уехали на несколько недель на Кавказ. Там – два-три письма из Москвы, от А. Белого. По обыкновению – сумасшедше-талантливые, но с каким-то неприятным привкусом и уклоном. С восторгами насчет... эсдеков. С туманными, но противными прорицаниями, Что же спрашивать с Белого? Он всегда в драме – или мелодраме. И ничего особенно ужасного и значительного отсюда не происходит.

Наше возвращение. Корниловская история – ее мы переживали изнутри, очень близко, и никак не могли опомниться от лжи, в которую она была заплетена (и до сих пор заплетена). Виделись ли мы с Блоком? Вероятно, мельком. Потому, думаю, вероятно, виделись, что мой телефон осенью, совершенно поразивший меня, был действием простым, как будто и не первой встречей после весны.

Конец, провал, крушение уже не только предчувствовалось – чувствовалось. Мы все были в агонии. Но что ж, смириться, молчать, ждать? Все хваталось за что кто мог. Не могли

не хвататься. Савинков, ушедший из правительства после Корнилова, затевал антибольшевистскую газету. Ему удалось сплотить порядочную группу интеллигенции. Почти все видные писатели дали согласие. Приглашения многих были поручены мне. Если приглашение Блока замедлилось чуть-чуть, то как раз потому, что в Блоке-то уж мне и в голову не приходило сомневаться.

Все это было в начале октября. Вечером, в свободную минутку, звоню к Блоку. Он отвечает тотчас же. Я, спешно, кратко, точно (время было телеграфическое!) объясняю, в чем дело. Зову к нам, на первое собрание.

Пауза. Потом:

– Нет, я, должно быть, не приду.

– Отчего? Вы заняты?

– Нет, я в такой газете не могу участвовать.

– Что вы говорите! Вы не согласны? Да в чем же дело?

Во время паузы быстро хочу сообразить, что происходит, и не могу. Предполагаю кучу нелепостей. Однако не угадываю.

– Вот война, – слышу глухой голос Блока, чуть-чуть более быстрый, немного рассерженный. – Война не может длиться. Нужен мир.

– Как... мир? Сепаратный? Теперь – с немцами мир?

– Ну да. Я очень люблю Германию. Нужно с ней заключить мир.

У меня чуть трубка не выпала из рук.

– И вы... не хотите с нами... Хотите заключать мир... Уж вы, пожалуй, не с большевиками ли?

Все-таки, и в эту минуту, вопрос мне казался абсурдным. А вот что ответил на него Блок (который был очень правдив, никогда не лгал):

– Да, если хотите, я скорее с большевиками... Они требуют мира, они...

Тут уж трудно было выдержать.

– А Россия?!.. Россия?!..

– Что ж Россия?

– Вы с большевиками, и забыли Россию. Ведь Россия страдает!

– Ну, она не очень-то и страдает...

У меня дух перехватило. Слишком это было неожиданно. С Блоком много чего можно ждать, – но не этого же. Я говорю спокойно:

– Александр Александрович. Я понимаю, что Боря может... Если он с большевиками – я пойму. Но ведь он – «потерянное дитя». А вы! Я не могу поверить, что вы... Вы!

Молчание. Потом вдруг, точно другой голос, такой измененный:

– Да ведь и я... Может быть, и я тоже... «потерянное дитя»?

Так эти слова и остались звенеть у меня в ушах, последний мой телефон с Блоком:

«Россия не очень и страдает... Скорее уж с большевиками... А если и я «потерянное дитя»?»

О катастрофе не буду, конечно, распространяться. Прошла зима, страшнее и позорнее которой ранее никогда не было. Да, вот это забывают обыкновенно, а это надо помнить: большевики – *позор* России, несмываемое с нее никогда пятно, даже страданиями и кровью ее праведников несмываемое.

...Но и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне!

К счастью. Блок написал эти строчки задолго до большевизма, и «такая» – не значит (в этом стихотворении) «большевистская». Однако – чем утешаться? Сомнений не было: Блок с

ними. С ними же, явно, был и Андрей Белый. Оба писали и работали в «Скифах» – издательстве этого переметчика – не то левого эсэра, не то уж партийного большевика – Иванова-Разумника.

Слышно было, что и в разных учреждениях они оба *добровольно* работают. Блок вместе с Луначарским и Горьким. Его поэма «Двенадцать», напечатанная в этих самых «Скифах», неожиданно кончающаяся Христом, ведущим 12 красногвардейцев-хулиганов, очень нашумела. Нравилось, что красногвардейцев 12, что они как новые апостолы. Целая литература создавалась об этих «апостолах» еще при жизни Блока. Наверно, и его спрашивали, как он понимает сам этого неожиданного Христа впереди двенадцати. И, наверно, он не сказал, – «потому что это несказанно». Большевики, несказанностью не смущаясь, с удовольствием пользовались «Двенадцатью»: где только ни болтались тряпки с надписью:

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем.

Даже красноармейцам надоело, тем более, что мировой пожар, хоть и дулся, – не раздувался.

Видали мы и более смелые плакаты, из тех же «Двенадцати»:

...Эй, не трусь!
Пальнем-ка пулей в святую Русь!—

и еще что-то вроде.

Не хотелось даже и слышать ничего о Блоке. Немножко от боли не хотелось. А думалось часто. Собственно кощунство «Двенадцати» ему нельзя было ставить в вину. Он не понимал кощунства. И, главное, не понимал, что тут чего-то не понимает. Везде особенно остро чувствовал свое «ничего непонимание» и был тонок, а вот где-то здесь, около религии, не чувствовал, – и был груб. И невинен в грубости своей. Что требовать от Блока, если «христианнейший антропософ» А. Белый в это время написал поэму «Христос воскрес», – не имевшую успеха, ибо неудачную, – однако столь ужасную по кощунству, что никакие блоковские красноармейцы в сравнение с ней идти не могли.

Об А. Белом думалось с жалостью и презреньем. О Блоке – с жалостью и болью. Но не всегда. Кощунства – пусть, что с него тут требовать, не понимал никогда, и не лгал, что понимает. Но его Прекрасная Дама? Его Незнакомка? Его Фаина, – Россия, – «плат узорный до бровей», – его любовь?

И уж не боль – негодование росло против Блока.

О, как паду, и горестно, и низко.
Не одолев смертельные мечты!

28

Мы думали, что дошли до пределов страдания, а наши дни были еще как праздник. Мы надеялись на скорый конец проклятого пути, а он, самый-то проклятый, еще почти не начался. Большевики, не знавшие ни русской интеллигенции, ни русского народа, неуверенные в себе и в том, что им позволят, еще робко протягивали лапы к разным вещам. Попробуют, видят – ничего, осмелеют. Хапнут.

Так, весной 1918 года они лишь целились запретить всю печать, но еще не решались (потом, через год, хохотали: и дураки же мы были церемониться!). Антибольшевистская интел-

лигенция, – а другой тогда не было, исключения считались единицами, – оказывалась еще глупее, чуть не собиралась бороться с большевиками «словом», угнетенным, правда, но все-таки своим. Что его просто-напросто уничтожат – она вообразить не могла.

За месяц до этого уничтожения мне предложили издать маленький сборник стихов, все написанное за годы войны и революции. Небольшая книжка эта, «Последние стихи», необыкновенно скоро была отпечатана, в военной, кажется, типографии (очень недурно), и затем все издание, целиком, кому-то продано, – впрочем, книгу свободно можно было доставать везде, пока существовали книжные магазины. Очень скоро ее стали рекомендовать как «запрещенную».

Упоминаю об этом вот почему.

Эту новую беленькую книжечку, с такими определенными стихами против «друзей» Блока, – трудно было удержаться не послать Блоку. Я думаю, все-таки упрямое неверье было, все-таки! что большевики – друзья Блока. Ведь это же с ума сойти!

Одна из моих юных приятельниц – много у меня еще оставалось дружеской молодежи, честной, – вызвалась книжку Блоку отнести. Письма не было, только на первой странице – стихотворение, ему посвященное: «Все это было, кажется, в последний – в последний вечер, в вешний час...» – «...Душа твоя невинна. Я не прощу ей никогда».

Немного упрекала меня совесть... «Не прощу», – а книгу все-таки посылаю? На что-то надеюсь? На что?

После ответа Блока уж и надеяться стало как будто не на что.

Тоненькие сырые книжки... Поэма «Двенадцать», конечно, и стихотворение «Скифы». Тут же и предисловие Иванова-Разумника, издателя... Лучше не говорить о нем. На одной из книжечек – стихотворение Блока, написанное прямо мне. Лучше не говорить и о нем. Я его не помню, помню только, что никогда Блок таких пошлостей не писал. Было как-то, что каждому своя судьба (или вроде), – «...вам – зеленоглазую наядой плескаться у ирландских скал» (?), «мне» – (не помню что) и «петь Интернационал»...

Нет, конечно, конечно, прячу брошюрки без возврата, довольно, взорваны мосты...

И еще прошли месяцы – как годы.

29

Я в трамвае, идущем с Невского по Садовой. Трамваи пока есть, остального почти ничего нет. Давно нет никаких, кроме казенных, газет. Журналов и книг нет вообще. Гладко.

Нравственная и физическая тяжесть так растет грозно, что мимо воли тянешься прочь, вон из Петербурга, в ту Россию, где нет большевиков. Верится: *уже* нет. (А если – *еще* нет?)

Все равно, мечта – повелительная – не дает покоя, тянет на свободу.

День осенний, довольно солнечный. Я еду с одной моей юной приятельницей – к другой: эта другая – именинница, сегодня 17 сентября по старому стилю.

Мы сидим с Ш. рядом, лицом к заколоченному Гостиному двору. Трамвай наполняется, на Сенной уже стоят в проходах.

Первый, кто вошел и стал в проходе, как раз около меня, вдруг говорит:

– Здравствуйте.

Этот голос ни с чьим не смещаешь. Подымаю глаза. Блок.

Лицо под фуражкой какой-то (именно фуражка была – не шляпа), длинное, сохлое, желтое, темное.

– Подадите ли вы мне руку?

Медленные слова, так же с усилием произносимы, такие же тяжелые.

Я протягиваю ему руку и говорю:

– Лично – да. Только лично. Не общественно.

Он целует руку. И, помолчав:

– Благодарю вас.

Еще помолчав:

– Вы, говорят, уезжаете?

– Что ж... Тут или умирать – или уезжать. Если, конечно, не быть в вашем положении...

Он молчит долго, потом произносит особенно мрачно и отчетливо:

– Умереть во всяком положении можно.

Прибавляет вдруг:

– Я ведь вас очень люблю...

– Вы знаете, что и я вас люблю.

Вагон, немного опустевший, давно прислушивается к странной сцене. Мы не стесняемся, говорим громко, при общем молчании. Не знаю, что думают слушающие, но лицо Блока так несомненно трагично (в это время его коренная трагичность сделалась видимой для всех, должно быть), – что и сцена им кажется трагичной.

Я встаю, мне нужно выходить.

– Прощайте, – говорит Блок. – Благодарю вас, что вы подали мне руку.

– Общественно – между нами взорваны мосты. Вы знаете. Никогда... Но лично... как мы были прежде...

Я опять протягиваю ему руку, стоя перед ним, опять он наклоняет желтое, больное лицо свое, медленно целует руку, «благодарю вас»... – и я на пыльной мостовой, а вагон проплывает мимо, и еще вижу на площадку вышедшего за мной Блока, различаю темную на нем... да, темно-синюю рубашку...

И все. Это был конец. Наша последняя встреча на земле.

Великая радость в том, что я хочу прибавить.

Мои глаза не видали Блока последних лет. Но есть два-три человека, глазам которых я верю, как своим собственным. Потому верю, что они, такие же друзья Блока, как и я, относились к «горестному падению» его с той же болью, как и я. Один из них, по природе не менее Блока верный и правдивый, даже упрекнул меня сурово за посылку ему моих «Последних стихов»: – Зачем вы это сделали?

И вот я ограничиваю себя – намеренно – только непреложными свидетельствами этих людей, только тем, что видели и слышали они.

А видели они – медленное восстание Блока, как бы духовное его воскресение, победный конец трагедии. Из глубины своего падения он, поднимаясь, достиг даже той высоты, которой не достигали, может быть, и не падавшие, остававшиеся твердыми и зрячими. Но Блок, прозревший, увидев лицо тех, кто оскорбляет, унижает и губит его Возлюбленную, – его Россию, – уже не мог не идти до конца.

Есть ли из нас один, самый зрячий, самый непримиримый, кто не знает за собой, в петербургском плену, хоть тени компромисса, просьбы за кого-нибудь Горькому, что ли, кто не едал корки соломенной из вражых рук? Я – знаю. И вкус этой корки – пайка проклятого – знаю. И хруст денег советских, полученных за ненужные переводы никому не нужных романов, – тоже знаю.

А вот Блок, в последние годы свои, уже отрекся от всего. Он совсем замолчал, не говорил почти ни с кем, ни слова. Поэму свою «Двенадцать» – возненавидел, не терпел, чтоб о ней упоминали при нем. Пока были силы – уезжал из Петербурга до первой станции, там где-то проводил целый день, возвращался, молчал. Знал, что умирает. Но – говорили – он ничего не хотел принимать из рук убийц. Родные, когда он уже не вставал с постели, должны были обманывать его. Он буквально задыхался, – и задохнулся.

Подробностей не коснусь. Когда-нибудь, в свое время, они будут известны. Довольно сказать здесь, что страданием великим и смертью он искупил не только всякую свою вольную и невольную вину, но, может быть, отчасти позор и грех России.

...И пусть над нашим смертным ложем
Взовьется с криком воронье...
Те, кто достойней, Боже, Боже,
Да внидут в царствие Твое!

Радость в том, что он сумел стать одним из этих достойных. И в том радость, что он навеки наш, что мы, сегодняшние, и Россия будущая, воскресшая, – можем неомраченно любить его, живого.



Одержимый. О Брюсове

*...Но всех покоряя – ты вечно покорен:
То зелен, то красен, – то розов, то черен.*

Нет на свете ничего интереснее «человека». Настоящего, живого человека, созданного природой, историей (или Богом). Но природное (или Божье) творчество необыкновенно тонко, сложно, узор его не для всех уловим. Писатели, создавая выдуманных людей, – типы, и *истолковывают* «человека» непонимающим. Подчеркивают, огрубляют тонкие черты, усиливают звук отдельной души, или дополняют его схожим звуком другой. Бросают краски мазками, пятнами, как на декорациях. Это громадное дело, – его можно делать и гениально, и бездарно...

В моих «сказках действительности» я не истолковываю «человека». Я рассказываю о нем подлинном, настоящем, каким он прошел перед моими глазами, – или даже мелькнул, – и каким он мне показался. Известен ли человек, обладает ли он какими-нибудь исключительными талантами или нет, – все равно. Ведь часто самые неизвестные, незаметные люди бывают интереснее, как люди, знаменитейших писателей и общественных деятелей.

Я пишу лишь о тех, с кем встреч уже не жду на этом свете, – потому ли, что они отошли за его черту, или потому, что отошли за непереступимую для меня черту *человеческую*, как Брюсов-большевик, и другие. Повторяю, впрочем, то, что было сказано в рассказе о Блоке: о живых или мертвых пишешь – надо говорить правду. И о живых или о мертвых пишешь – надо о чем-то, о какой-то фантастической правде, хорошей и дурной, – умолчать. Эти умолчания не искажают образа. Но не надо прикасаться к «тайне Личности», которая должна быть, – и все равно будет, – сокрыта навсегда.

Поэт Валерий Брюсов – с 18-го, кажется, года – коммунист. Мало того: он сразу же пошел в большевистскую цензурную комиссию, не знаю, как она у них там называется, чуть ли не сделался ее председателем, и заявил себя цензором строгим, беспощадным, суровым. Была у него издана, еще при нас, брошюрка «Почему я стал коммунистом», но мне не попала, да признаться, и не заинтересовала меня: догадаться, как Валерий Брюсов стал «коммунистом» можно и без брошюрки, если немного знать автора.

Между нами никогда не было ни дружбы, в настоящем смысле слова, ни внутренней близости. Видимость, тень всего этого – была. В продолжение долгих лет видались мы постоянно, периодами же работали вместе, в одних и тех же изданиях. Говоря о нем, я, как в рассказе о Блоке, ограничусь лишь непосредственными с ним встречами, – по возможности, разумеется. Если с Блоком у нас отношения внутренние были шире внешних, то с Брюсовым даже не наоборот, а почти сплошь они были внешние. Но внешний облик Брюсова так характерен и так проникаем для долгого и внимательного взора, – что я вряд ли ошибусь в определениях сущности этой своеобразной души.

Брюсов не умер физически¹. Но, ввиду его данного положения в большевистской России, я могу со спокойной совестью считать, что он умер для меня и для большинства русских: ведь никакой больше «встречи» с ним на земле у меня произойти не может. Поэтому и вызвать из прошлого его тень (если уж вызвать) – дело вполне своевременное.

Добавлю еще, что Брюсов умер и как поэт. Мне это кажется естественным и логичным. Иначе, по-моему, и быть не могло. А сомневающимся я отсылаю к недавно изданной им в Москве книжке стихов, – не просто плохой, а какой-то даже не совсем вероятной: безграмотной.

¹ Очерк был написан в 1921 г. Брюсов умер в конце 1924-го (все примечания в тексте принадлежат З. Н. Гиппиус – сост.).

1

Летом одного очень дальнего года, 1895-го кажется², в редакцию «Северного вестника» была прислана книжечка «Chefs-d' oeuvre».

Подобных книжонок, маленьких, тоненьких, с заглавиями еще менее скромными, присылалось тогда в редакции тьма-тьмушая: годы «декадентства». Последние годы, правда, «декадентство», в чистом своем виде, близилось к закату. Будущая ответвь, символизм, – едва нарождалась. Сологуб только что начинал печатать свои странные и ясные рассказы, новые, и такие свежие, стихи.

«Шедевры» были несомненным декадентством. Все известное, – «нарочное». И вдруг одно стихотворение меня остановило. Называлось оно «Сумасшедший», содержания не помню, как будто этот сумасшедший сидел под мостом или что-то вроде...

Уверяю скептических редакционных критиков, что стихотворение недурное, что автор «явно не без таланта».

– Кто он? Какая странная фамилия. Неужели псевдоним? Напоминает календарь Гатчука: предсказания *Брюса* на такой-то год...

Вскоре мне сообщили, что «Брюсов» не псевдоним, а настоящая фамилия, что это – очень молодой москвич из среднего купечества и, кажется, в Москве им интересуются. В Москве закат «декадентства» еще не чувствовался, стояло оно пока в зените.

Литературная Москва и литературный Петербург всегда рознились между собой. Не то чтобы по времени: Москва вовсе не «шла» за Петербургом, опаздывая. Нет, разница более сложная, подчас неопределимая. Разница в общем темпе жизни, в мерах размаха, в различии вкусов. Многие Москва захватывала глубже и переживала длительнее. Петербург был зато зрячее и сдержаннее.

2

За книжкой «Шедевров» очень скоро последовали другие подписанные именем Брюсова. Туча «декадентов» ограничилась десятком-двумя стихотворений и рассеялась. Замолкли. А Брюсов не устал писать и печатать. В журналы, толстые, его, как вообще «декадентов», не пускали. «Северный вестник» составлял исключение, – но он был в Петербурге!

В эти годы, до 1900-го, мы в Москву редко ездили, и с Брюсовым познакомились в Петербурге, у нас.

Скромный, приятный, вежливый юноша. Молодость его, впрочем, в глаза не бросалась, – у него и тогда уже была небольшая черная борода. Необыкновенно тонкий, гибкий, как ветка. И еще тоньше, еще гибче делал его черный сюртук, застегнутый на все пуговицы. Черные глаза, небольшие, глубоко сидящие и сближенные у переносья. Ни красивым, ни некрасивым назвать его нельзя, – во всяком случае интересное лицо, живые глаза. Только, если долго всматриваться, объективно, отвлекшись мыслью, – внезапно поразит вас его сходство с шимпанзе. Верно, сближенные глаза при тяжеловатом подбородке дают это впечатление.

Сдержанность и вежливость его нравились, – точно и не «московский декадент»! Скоро обнаружилось, что он довольно образован и насмешливо-умен.

Поз он тогда никаких не принимал, ни наполеоновских, ни демонических. Да, сказать правду, он при нас и впоследствии их не принимал. Внешняя наполеоновская поза – высоко скрещенные руки – потом вошла у него в привычку. Но и то я помню ее больше на бесчислен-

² Заранее оговариваюсь, что возможны мелкие фактические неточности, особенно в датах. У меня нет под рукой никакого материала, ни моих записей, ни писем.

ных портретах Брюсова. В личных свиданиях он был очень прост, бровей, от природы немного нависших, не супил, не рисовался. Высокий тенорок его, чуть-чуть тенорок молодого приказчика или московского сына купеческого, даже шел к непомерно тонкой и гибкой фигуре.

3

Он стал часто наезжать в Петербург. После каждого свидания делалось все яснее, что этот человек не пропадет: помимо талантливости и своеобразного ума, у него есть сметка и – упорство. Упорство или воля... это решить было трудно.

Не много прошло времени – и вот Брюсов, вместе с молодым Поляковым, создает журнал «Весы», первый русский журнал нового типа, еще «декадентский» – но культурный. Вокруг него, и вокруг связанного с ним издательства «Скорпион», начинают группироваться молодые силы, все «отверженные» – справедливо и несправедливо – традиционным русским «толстым журналом».

Брюсов – «декадент», но он же и «классик»: он пушкинист, поклонник забытого Тютчева и отошедшего в тень Фета. Он неутомимо работает над исследованием сокровищ русской поэзии и освобождает их из-под хлама «либеральщины», как он говорит. Под его редакцией в издательстве «Скорпион» начинают выходить сборники «Северные цветы», названные так в память пушкинских «Северных цветов».

Но Брюсов, кроме того, тянется к «европеизму». Стремится наладить связь новой русской литературы с соответствующими уклонами во Франции и в Скандинавии.

Конечно, не Брюсов создал новые течения в литературе. Они создались сами, естественно. Декадентство, символизм (к нему Брюсов близко не примкнул), принцип «чистого» искусства, тяга к европеизму, наконец – все это было неизбежной революцией против многолетнего царствования наследников Белинского и Писарева, приведшего действительно к литературному оскудению.

Ломались старые рамки. Много при этом было и уродливого, и ненужного, – но и неожиданного. Молодые работники являлись тогда из самых разнообразных слоев общества. Все зависело от личных способностей и упорства. Вот этого и работоспособности, при громадной сметке, у Брюсова оказалось очень много. Он по праву занял видное место в новом литературном течении, из него тогдашнего Брюсова не выкинешь. Между тем, среда и обстановка, из которой он вышел, мало благоприятствовали избранной им линии. Сыну московского пробочного фабриканта, к тому же разорившегося, пришлось-таки потрудиться, чтобы приобрести солидное образование и сделаться «европейцем» – или похожим на европейца. Но брюсовское упорство, догадливый ум и способность сосредоточения воли – исключительны. И они служили ему верно.

4

Дело в том, что Брюсов – человек абсолютного, совершенно бешеного, честолюбия. Я говорю «честолюбия» лишь потому, что нет другого, более сильного слова для выражения той страстной «самости», самозавязанности в тугой узел, той напряженной жажды всевеличия и всевластия, которой одержим Брюсов. Тут иначе как одержимым его и назвать нельзя.

Это в нем не сразу было видно. Почему? Да потому, что заботливее всего скрывается пункт помешательства. У Брюсова же, в этой точке, таилось самое подлинное безумие.

Ну, а скрывать, если хотел он что-нибудь скрыть, он умел. Самые дюжинные безумцы хитры на скрывание пунктиков. А Брюсов, крайне ловкий от природы, вне этой точки был разумен, сдержан, холодно и остро насмешлив, очень владел собою. (Говорю о Брюсове тех первых годов.) Он отлично видел людей и знал, на сколько пуговиц перед каждым стоит застегнуться.

Что какое-то безумие есть в нем, сидит в нем, – это видели почти все. Где оно, в чем оно, – не видел почти никто. Принимали огонек, мелькавший порой в глубоко сидящих, сближенных глазах, за священное безумие поэта. Против такого восприятия Брюсов, конечно, ничего не имел. Он не прочь был даже усилить впечатление, где можно, насколько можно. Отсюда его «демоническая» и всякие другие позы.

Честолюбие может быть лишь одной из страстей, и в этом случае оно само частично: честолюбие литературное, военное, ораторское, даже любовное. Тогда другие страсти могут с ним сосуществовать, оставаясь просто себе страстями. Так, военное честолюбие вполне совместимо со страстью к женщинам, или честолюбие литературное со страстью к вину, что ли. Но брюсовское «честолюбие» – страсть настолько полная, что она, захватив все стороны существования, могла быть, – и действительно была, – единственной его страстью.

Любил ли он искусство? Любил ли он женщин, вот этих своих «mille e tre»? Нет, конечно. Чем он мог *любить*? Всесъедающая страсть, единственная, делала из женщин, из вина, из карт, из работы, из стихов, даже собственных, – только ряд средств, средств, средств... В конце концов и сам Брюсов (как это ни парадоксально) должен был стать для нее средством. Цель лишь она.

В расцвете его успеха – глупые, но чуткие люди говорили: Брюсов *холодный* поэт. Самые «страстные» стихи его – замечательно бесстрастны: не Эрос им владеет. Ему нужна любовь всех mille e tre, всех. И ни одна из них сама по себе, вместе с любовью, как таковой, не нужна. Лишь средства, средства...

Об остатках, – рудиментарных, – человеческих чувств в этой сожженной душе я скажу дальше. А пока вернемся к рассказу.

5

«Секрет» Брюсова о единой таинственной его страсти не сразу мне открылся. Это постепенно определилось, когда мы стали чаще видаться.

К «Весам» и «Скорпиону» мне пришлось стать в довольно близкие отношения. Не могу даже вспомнить всех моих в этом журнале псевдонимов.

Приезжая в Москву (а мы стали ездить туда часто) мы останавливались обыкновенно в «Славянском базаре» и в комнатах, окна которых выходили, через какой-то двор, прямо на гостиницу «Метрополь». В «Метрополе», тогда не вполне достроенном и не открытом, помещалась редакция «Весов». По вечерам, как только зажгутся знакомые окна, – идем туда. Я смеюсь: ваша редакция – самый новый, самый культурный уголок Москвы. И действительно, чего новее: первые отделанные комнаты еще неоткрытого, еще пустого, пахнущего штукатуркой, гигантского современного отеля. В редакции все чисто, солидно, все блестит. Кое-какие красивые вещи, книги, рисунки: Поляков недаром богат, Брюсов недаром «искусник» и «европеец». Чай – в электрических, тогда еще редких, чайниках. (Если б мне кто-нибудь сказал, что через несколько лет этот самый Брюсов будет «раздувать мировой пожар» на «горе всем буржуйам!» Впрочем, столько случилось невероятного, что, очевидно, никаких невероятных вещей нет.)

Мы бывали также и у самого Брюсова. Он был женат. Давно, с самой, кажется, ранней молодости. Жена его, маленькая женщина, полька, необыкновенно обыкновенная. Если удивляла она чем-нибудь, – то именно своей незамечательностью.

Удивление, однако, напрасное, ибо она воистину была замечательна. Еще бы! Ведь это единственная женщина, которую во всю жизнь Брюсов *любил*. При сумасшедше честолюбивой жажде женского успеха, при утонченной погоне за женщинами, при всех своих mille e tre и драмах, которые он разыгрывал порою до самообмана, – любил он, по-человечески, сколько мог, одну вот эту незаметную женщину – свою жену. Он никогда с ней не расходился, даже редко расставался. Когда она бывала при смерти, – несколько раз, при несчастных родах, – на

Брюсове лица не было, он делался неузнаваемым. Эта любовь, между прочим, была причиной и той единственной из его драм, которой на мгновение мы стали свидетелями. Но о ней потом, она случилась гораздо позже.

В то время, 1901—2—3 годы, Брюсов жил на Цветном бульваре, в «собственном» доме. То есть в доме своего отца, в отведенной ему маленькой квартирке.

Тут уж не электрические чайники редакции «Весов» style moderne, а самая старинная Москва. В калитку стучат кольцом, потом пробираются по двору, по тропинке меж сугробами. Деревянная темная лесенка с обмерзшими, скользкими ступенями. Внутри – маленькие комнаты жарко натоплены, но с полу дует. Стиль и книги редактора «Весов» – и рядом какие-то салфеточки вязаные и кисейные занавесочки.

Насмешливое остроумие, изредка граничащее со сплетничеством, никогда не покидало Брюсова. Но у себя он был особенно жив, мил, по-московски радушен. Вообще москвичом он оставался, несмотря на весь «европеизм» – и даже некоторую «космополитическую» позу.

Известный московский «Кружок», душой которого (да и председателем) долгое время был Брюсов, – в 1901—2 годы, кажется, еще не вполне расцвел. Мережковский, когда мы приезжали в Москву, читал лекции не в «Кружке», а в какой-то университетской аудитории.

Вот ужин, после одной из этих лекций, в отдаленной зале «Славянского базара», за большим столом. Присутствующие – профессора, солидные, седоватые, бородатые, но между ними и тонкий молодой Брюсов.

Мне особенно ясно запомнился профессор Н. Бугаев, математик, лысый и приятный³. Он, к общему удивлению, весь вечер говорил... о чертях. Рассказывал, с хохотом, как черт его на извозчике возил, и другие случаи из своей жизни, где чертовское присутствие обнаруживалось с несомненностью.

Потом Брюсов читал стихи. Поднялся из-за стола и начал высоким тенорком своим, забирая все выше:

Я долго был рабом покорным
Прекраснейшей из всех цариц.

.....

И вздрогнула она от гнева:
Мсть оскорбителям святынь!..

Брюсов читает порывисто, с коротким дыханием. Высокий голос его, когда переходит в поющие вскрики, например, в конце этого же стихотворения —

Но эту ночь я помню! Помню! —

делается почти похожим на женский.

6

Естественно, в силу единой владеющей им страсти, Брюсов никакого искусства не любил и любить не мог. Но если он «считал нужным» признавать старых художников, заниматься ими, даже «благоеветь» перед ними, – то всех своих современников, писателей (равно и неписателей, впрочем), он, уже без различия, совершенно и абсолютно презирал. Однако природная

³ Отец Б. Бугаева – Андрея Белого.

сметка позволила ему выработать в отношениях с людьми особую гибкость, удивительную тонкость. Даже неглупый человек выносил из общения с Брюсовым, из беседы с ним, убеждение, что действительно Брюсов всех презирает (и поделом!). Всех – кроме него. Это ведь своего рода лесть, и особенно изысканная, бранить с кем-нибудь всех других. А Брюсов даже никогда и не «бранился»: он только чуть-чуть, прикрито и понятно, несколькими снисходительными злыми словами, отшвыривал того, о ком говорил. А тот, с кем он говорил, незаметно польщенный брюсовским «доверием», уже начинал чувствовать себя его сообщником.

Очень действительный прием с людьми, пусть и неглупыми, но не особенно тонкими.

Мне Брюсов нравился уже тем, что был так ясен для меня. Нравилось и презрение, искусно спрятанное, строго последовательное. Без него образ был бы неполным, недостаточно художественным.

7

Мы на Брестском вокзале, в Москве. «Скорпионы» провожают нас за границу.

Опять мы с Брюсовым болтаем... о стихах. О, не о поэзии, конечно, а именно о стихах. С Блоком мы о них почти никогда не говорили. А с Брюсовым – постоянно, и всегда как-то «профессионально».

Выдумываем, нельзя ли рифмовать не концы строк, а начала? Или, может быть, так, чтобы созвучие падало не на последние слоги оканчивающего строку слова, а на первые?

Как-то потом, вдолге, мне вспомнилась эта игра. В «Весах» было напечатано несколько стихотворений под общим заглавием «Неуместные рифмы». В книги мои они, конечно, не вошли, и я их едва помню:

... Сквозь цепкое и ле-пкое
Сользнуть бы с Ча-шей...
По самой темной ле-стнице
Дойти до сча-стья...

Что-то в этом роде. В другой раз вышло интереснее. Мы подбирали «одинокие» слова. Их очень много. Ведь нет даже рифмы на «истину»! Мы, впрочем, оба решили поискать и подумать. У меня ничего путного не вышло. Какое-то полушуточное стихотворение (обращенное к Сологубу):

..... извлек
Воду живую он из-стены;
Только не знает мудрец и пророк
Собственной истины.

А Брюсов написал поразительно характерное стихотворение, такое для него характерное, что я все восемь строчек выпишу. Рифма, благодаря которой стихотворение и было мне посвящено, не особенно удалась, но не в ней дело.

Неколебимой истине
Не верю я давно.
И все моря, все пристани
Люблю, люблю равно.
Хочу, чтобы всюду плавала
Свободная ладья,

И Господа, и Дьявола
Равно прославлю я...

Ну, конечно, не все ли равно, славить Господа или Дьявола, если хочешь – и можешь – славить только Себя? Кто в данную минуту, как средство для конечной цели, более подходит, – того и славить.

Насчет «свободной» лады – ужимка, поза, рифма. Какая «свобода», или хоть мысль и понятие о ней, могут быть у одержимого Брюсовской страстью?

8

В годы японской войны и революции мы с Брюсовым видались мало. Мы заняты были ликвидацией «Нового пути», журнала, который очень отвлек меня в последнее время от «Весов».

Успел ли Брюсов тогда начать «прославление» революции, или мудро воздержался, выжидал – я решительно не знаю. Мы видели его в это время лишь раз, мельком, в Петербурге, у Вяч. Иванова. Очень скоро потом мы уехали в Париж, где оставались подряд два с половиной года. Но в Париже именно с Брюсовым у меня была самая деятельная переписка. И вновь началось сотрудничество в «Весах», из книжки в книжку (даже корреспондентский билет у меня был оттуда).

В Москве (да и в Петербурге) это было время «литературного возрождения» и литературной суеты. У «Весов» появились соперники в виде «Золотого руна» и других «эстетических» журналов. С другой стороны, пышным цветом расцветал Андреев (Горький тут несколько затмился).

Остроумные, едкие письма Брюсова позволили мне разбираться в общем положении дел. Позиция «Весов» была самая воинственная.

Тогда же вышла книга рассказов Брюсова «Проза поэта» (мне пришлось писать о ней не в «Весах», конечно, а в «Русской мысли»). По существу она ровно ничего к Брюсову не прибавляла и ничего от него не отнимала. Лишь уясняла, – для меня, – знакомое. Проза очень *голит* поэта как человека. Как раз для *человека-то* в прозе гораздо меньше, чем в стихах, «кустов», куда можно спрятаться.

И в рассказах, всегда фантастических, и в романах, полуисторических-полуфантастических, – все тот же Брюсов, одержимый все той же единственной тайной страстью, мертвый ко всему, что не она. Фантастика, а, главное, эротика, с отчаянным на нее напиранием, – одежды, которые Брюсов натягивает на свой темный провал. То, что на обычном языке называется «внутренней бессодержательностью», а на эстетическом – «бестенденциозностью», у Брюсова налицо. Но это сквозит его провал темный, его глубокое – решительно ко всему – равнодушие.

И все моря, все пристани
Я не люблю равно,—

хотя готов «прославить» что угодно, кого угодно... смотря по моменту.

Прославление так называемой «любобной» страсти, эротика, годится во все времена. Мертвенный холод Брюсова в этой области достаточно ощутим и в стихах. Но в прозе, где труднее спрятаться, он без меры, с отчаяньем, подчеркивая «любобные» сцены, делает их почти... некрофильскими.

Кстати сказать, ни у кого нет такого количества «некрофильских» стихов, как у Брюсова. На той «среде» Вяч. Иванова, где мы единственный раз в 1905 году встретили Брюсова, вышел забавный случай.

Присутствовал «цвет» современной поэзии (впрочем, и не цвет тоже). Литературный эстетизм переживал тогда момент судороги, – революция, неудавшаяся, сказывалась. Оживление немножко сумасшедшее, напряженно-разнузданное... Частью оно потом выродилось в порнографию.

На средах было заведено, читает ли признанный поэт или начинающий, слушатели, поочередно, тут же высказывают свое мнение. В критике не стеснялись, резкости даже преувеличивали. Но она касалась главным образом формы. И выходило, что профессионалы критиковали молодых, обижаться было некому.

Сологуб сидел неподвижно и говорил мало. Кажется, он ничего не читал. А Брюсов, когда до него дошла очередь, прочел целый цикл... некрофильских стихотворений. Содержание в первую минуту удивило даже и собравшихся смелых новаторов. Но скоро все оправилось, и стихи, прочитанные «дерзновенно», высоким бряусовским тенором и по-брюсовски искусно сделанные, вызвали самые комплементарные отзывы. Дошло до Сологуба. Молчит. И все молчат. Хозяин, со сладкой настойчивостью, повторяет свою просьбу «к Федору Кузьмичу – высказаться». Еще секунда молчанья. Наконец – монотонный и очень внятный, особенно при общей тишине, ответ Сологуба: – Ничего не могу сказать. Не имею опыта.

Эти ядовитые, особенно по тону, каким были сказаны, слова были тотчас же затерты смехом, не очень удачными шутками, находчивостью хозяина... Но Брюсов, я думаю, их почувствовал – и не забыл.

9

Очень скоро по возвращении в Россию – мы поехали в Москву. «Русская мысль» перешла тогда в заведование П. Б. Струве, Кизеветтера, Франка и других. Послеревolutionное оживление в журналистике и газетном деле было необыкновенное. Нарождались новые журналы, толстые и тонкие, старые реформировались и преобразовывались. Расцвел литературный альманах.

Мы, в Петербурге, уже успели потерпеть довольно глупое поражение с одним толстым журналом. Хотели мы, вкуче с кружком Кусковой и Богучарского, приобрести его у тогдашнего его владельца, печальной памяти Василевского Не-Буквы (который тогда впервые, вместе с Гржебиным, и выплыл). Не-Буква нам журнал этот продал (с понедельничной газетой вместе), но на другой же день (буквально на другой) так нас всех обманул, ни одного своего слова не сдержав, что мы только руками развели, и остались без журнала.

Вскоре после того Струве пригласил меня и Мережковского заведовать литературным отделом «Русской мысли», и для ознакомления с редакцией и нашими обязанностями мы в Москву и поехали.

Московское кипение поразило нас еще больше, чем петербургское. Не говорю о Воздвиженке, степенной редакции «Русской мысли»: там была сравнительная тишина. Но где крутились «Золотые руна», «Альционы», да и «Весы», и «Скорпионы», был суший базар. И как все изменилось, – в моем поле зрения, по крайней мере, – до мелочей!

Мы жили не в старых, темноватых комнатках «Славянского базара» – а в «Национале», едва успевшем загрязнить свой показной «confort moderne». С утра – люди, писатели и редакторы. Причем скоро выяснилось, что лучше каждого принимать отдельно, ибо неизвестно, кто с кем на ножах, – пожалуй, все со всеми.

Вот и Брюсов... тоже изменившийся. Нервный, порывистый, с более резкими движениями, злее, насмешливее. Он, оказывается, не встречался с редактором «Золотого руна», который у нас или только что был, или должен был прийти, – не вспомню. Заговорили о дуэли Брюсова с этим редактором. Тут же путался и Андрей Белый, не то в чине «секунданта», не то

в каком-то другом – не знаю, и припомнить не могу. Все это как было для нас темной путаницей, которую не хотелось распутывать, так и доселе осталось.

Затем пошел «Кружок», превратившийся в большой клуб с «железкой», ужин там после доклада Мережковского, еще какие-то ужины, доклады, опять ужины...

Брюсов покинул Цветной бульвар и отцовскую квартиру в деревянном флигеле, за дворовыми сугробами. И он жил теперь не без «confort moderne», в расписном rez-de-chaussée против Сухаревки, в комнатах с красными стенами и какими-то висячими фонариками. Все было иное. Не изменилась только жена Брюсова. Такая же тихая, ровная, плотно и незыблемо сидящая на своем месте – брюсовской *вечной жены*. У писателей известных, как и у других «знаменитостей», часто бывают жены типа «верного», особенного, самоотверженные «служительницы гения», видящие только его, любящие до конца, прощающие, даже впредь простившие, – все. Жена Брюсова имела нечто сверх этого. Верная – конечно. Всепростившая – конечно. Но прежде-то всего – «вечная» жена: так тихо она покоилась на уверенности, что уж как дальше ни будь, а уж это незыблемо; она и Брюсов вместе. Миры могут рушиться, но Брюсов останется, в конце концов, с ней.

Что ж, она была права. И если теперь жива – я не сомневаюсь: Брюсов с ней.

«Весы» уже близились к закату. Едем по Тверской, вечером на извозчике, с Брюсовым. Он мне подробно рассказывает о Полякове (издатель), о положении «Весов» и «Скорпиона»... Вскоре и действительно «Весы» сошли на «нет». Дольше держались альманахи «Северные цветы».

10

Заведовать литературным отделом журнала, издающегося в другом городе, дело не легкое. Мы были рады, что к нему привлечен и Брюсов, москвич. Ему, впрочем, были отданы стихи. Брюсов заботился о присылке книг для очередной моей литературной статьи. Рукописи (прозаические) присылались беспорядочной кучей, из редакции, и порою было от чего прийти в отчаянье! Чувствовалось, что дело не налажено. Вскоре наше с «Русской мыслью» дело и совсем разладилось.

Виноваты были мы. Вместо того, чтобы ограничиться, по условию, чтением беллетристических рукописей, мы вздумали предлагать редакции вещи некоторых писателей, на наш взгляд достойные напечатания, но не чисто беллетристические. Между тем, следовало бы помнить, что наши взгляды вне «искусства» не совпадают со взглядами редакторов журналов.

Мы всех их знали давно. Особенно хорошо знали П. Б. Струве, этого прелестного, умного и талантливого человека, этого... писателя? профессора? журналиста? политика? ученого? Как его назвать? Он всегда, делая, как будто делал не вполне свое дело, не главное, – и, однако, делал всякое прекрасно. Мы знали его еще в те далекие времена, когда он и М. Туган-Барановский были «первыми русскими марксистами». Воды много утекло, но по существу П. Б. Струве оставался все тем же: немножко тяжелым, упрямым, рассеянным, глубоким – и необыкновенно, исключительно – прямым. Много он, от марксизма, сделал поворотов, но умел, благодаря прямоте и серьезности, именно поворачивать; он никогда не «вертелся».

И в то время, о котором пишу, поворот его был не на нашу дорогу. Мы сохраняли – и сохранили – с ним наилучшие отношения, впоследствии мы даже сблизились на одних и тех же вопросах, однако *совместная* работа, конкретная, хотя бы журнальная, требует иных степеней близости, – если она не чисто формальная, конечно.

Франк, и особенно Кизеветтер, были нам более далеки.

Повторяю, ошибка была на нашей стороне; не следовало нам выходить за изгородь «литературы».

Что это, однако, «литература» или «не литература» – «Тройка» Блока, из-за которой вышло первое наше столкновение? По моему – литература, и даже «изящная», не в переносном, а в прямом смысле. Но «изящной» называется «беллетристика», а «Тройка» Блока имела вид «статьи». Она была лирична – тем хуже, раз это «статья». В ней говорилось о России – тем еще хуже, – статья с Россией это уж статья с политикой. Надо решить, значит, соответствует ли эта политика политике журнала. Пожалуй, и не стоит решать, и так ясно: никакая «лирическая» политика журналу не соответствует.

Блок читал эту статью на первом (после нашего возвращения) собрании религиозно-философского общества. Она показалась нам тогда очень свежей, очень сильной. Но в «Русской мысли» ее не напечатали.

Дело все больше расклеивалось, пока не пало окончательно. Заведование литературной прозой с нас было снято, мы остались просто сотрудниками, я – ежемесячным литературным обозревателем.

Заместителем нашим по части литературной прозы официально стал числиться Брюсов, но фактически он делил работу с самим П. Б. Струве. Об этой общей работе Брюсов, при наших дальнейших встречах, постоянно говорил. Постоянно на нее жаловался. Не удивительно. Гораздо удивительнее, что два таких разных человека, – Струве и Брюсов, – могли все же долго работать вместе.

11

По тонкости *внешнего* понимания стихов – у Брюсова не было соперника. Способность к «стилю» и форме (не странно ли, что даже ее он утерял ныне!) позволяла ему «шалости» вроде издания целого сборника стихов от женского имени, под таинственным псевдонимом «Нелли». Это был, конечно, тот же Брюсов, холодный в эротике (и потому циничный), естественно-бессодержательный. Но, благодаря внешнему мастерству, замаскирован он был ловко.

Внутреннего же вкуса и чутья к стихам, предполагающего хоть какую-нибудь *любовь* к поэзии, у него совершенно не имелось. Случаев убедиться в этом у меня было много. Вот один.

Кто-то прислал ко мне юного поэта, маленького, темненького, сутулого, такого скромного, такого робкого, что он читал едва слышно, и руки у него были мокрые и холодные. Ничего о нем раньше мы не знали, кто его прислал – не помню (может быть, он сам пришел), к юным поэтам я имею большое недоверие, стихи его были далеко не совершенны, и – мне все-таки, с несомненностью, показалось, что они не совсем в ряд тех, которые приходится десятками слушать каждый день (приходилось бы сотнями, не положи я предела).

В стихи этого юнца «что-то попало», как мы тогда выражались.

Решаю про себя, что мальчик не без способностей, и вызываюсь (в первый раз в жизни, кажется, без просьбы) где-нибудь напечатать стихи: «В «Русской мысли», например, – я pošлю их Брюсову».

Ответ получился не очень скоро, и даже, между прочим, в письме по другому поводу. Ответ насмешливый, небрежный и грубоватый: что до вашего юнца «со способностями», то таких юнцов с такими же, и даже большими, способностями у меня слишком достаточно и в Москве. Советую этому не печататься... Еще что-то было в том же роде, если не хуже.

Однако из юнца вышел, и необыкновенно скоро, – поэт, во всяком случае всеми за такового признаваемый, и даже по тщательности формы, по отделке ее, поэт в сорте Брюсова. Это был О. Мандельштам.

В красивой кожаной книжке, которую Брюсов мне подарил в январе 1909 г. для моих стихов (в ней, вывезенной из Совдепии, и записаны они все с 1909 г., и книжка еще не кончена, хотя ей уже четырнадцатый год), – на первой странице есть милое и довольно длинное, любезное посвящение дарителя. Это стихотворение Брюсов где-то потом напечатал. Как оно

ни любезно – я сознаю, что к моим-то писаньям оно совершенно не относится. Я естественно разделяю участь всех современных собратьев Брюсова: он с ними при случае любезен, при случае груб, как будто всех презирает, а, в сущности, никого и не видал: нужды не чувствовал смотреть, времени не было.

Впрочем, в заказанной ему статье, в «Истории русской литературы», Брюсов с большой тонкостью разобрал аллитерации одного моего стихотворения с подсчетом согласных и гласных...

Случился довольно долгий перерыв в наших свиданиях, чуть ли не в года полтора. Мельком мы слышали, что Брюсов болел, поправился, но изнервничался, ведет довольно бурную жизнь и сильно злоупотребляет наркотиками.

Когда, после этого долгого времени, он заехал к нам впервые, – он меня, действительно, изумил. Вспоминался самый давний, тонкий, как ветка, скромный молодой человек с черной бородкой, со сдержанными и мягкими движениями, спокойно-самоуверенный, спокойно-насмешливый. А это... Брюсов? Впрочем, воспоминание мелькнуло и погасло. Я уже узнаю опять Брюсова, хотя даже с недавним – какая внешняя разница!

Вот он сидит в столовой за столом. Без перерыва курит... (это Брюсов-то!) и руки с неопрытными ногтями (это у Брюсова-то!) так трясутся, что он сыплет пеплом на скатерть, в стакан с чаем, потом сдергивает угол скатерти, потом сам сдергивается с места и начинает беспорядочно шагать по узенькой столовой. Лицо похудело и потемнело, черные глаза тусклы – а то вдруг странно блеснут во впятинах. В бородке целые седые полосы, да и голова с белым отсветом. В нем такое напряженное беспокойство, что самому становится беспокойно рядом с ним.

Все говорит, говорит... все жалуется на Струве. Который раз уж он приезжает по делам «Русской мысли». Что они там делают! Что печатают! Струве сам занимается литературными рукописями. На него, Брюсова, смотрит, как на редакторского служащего. Он, Брюсов, решил уйти, если это будет продолжаться. Он, Брюсов... Он, Струве...

Я, очевидно, не в состоянии припомнить, в чем был виновен Струве, из-за чего происходили эти волнующие конфликты. Да и никто не мог бы вспомнить, так это неинтересно. Мы, обеспокоенные брюсовским беспокойством, советовали ему лучше уйти, если так.

– Я уйду, я уйду, – повторял он, – и, однако, не уходил. Опять являлся из Москвы, опять бегал у нас по комнате и жаловался на Струве: так не может продолжаться: я уйду...

Понемногу мы привыкли к новому виду Брюсова, да он, в самые последние перед войной годы, как будто немного успокоился, стал больше напоминать прежнего – насмешливого и остроумного Брюсова.

Никогда, конечно, ни о чем внутреннем мы не говорили. Не только ни разу не коснулись вопросов, которыми занят был весь наш кружок и которые имели широкое отражение в религиозно-философском обществе, – но мы вообще ни о чем не говорили, только о литературе, да и то в смысле литературных дел и делишек, а всего больше о «Русской мысли» и о Струве...

Струве, кстати сказать, к вопросу религиозному, занимавшему тогда часть русской интеллигенции, имел довольно близкое касанье. Он был даже членом совета Общества. В совете имелись свои правые и левые. Впоследствии, когда борьба между ними обострилась и победили левые (вопрос, в связи с делом Бейлиса, об исключении В. В. Розанова из числа членов в многолюдном собрании был решен положительно), Струве и его группа из совета вышли. Струве был принципиально против внесения струи общественной, даже морально-общественной, в область религии.

С Брюсовым говорить о чем-нибудь таком и в голову не приходило. В далекие годы «декадентства» он не упускал случая выразить свое презрение или даже ненависть к «либералам». Но это уж так водилось. А затем – я не припомню ни одного брюсовского мнения по какому-нибудь вопросу более или менее широкому. Никогда не слышали мы, чтобы он и где-нибудь,

не с нами, общих вопросов определенно касался. Стекланный колпак накрывал его. Под ним, в безвоздушном пространстве своей единой, на себя обращенной, страсти он и оставался. Изумительно, однако, что никто ни разу не спохватился; да что же это за человек? Да живой он или мертвый?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.